



АЛЕКСАНДР БАЛАШОВ

# ЗАПИСКИ МЁРТВОГО ПСА



## Аннотация

*Вслед за героями этого историко-приключенческого романа читатель отправится на поиск вечно ускользающей истины. Ложь и Правда. Добро и Зло. Говорят, что время всё расставляет на свои места. Сегодня можно часто слышать: время — деньги. Время, действительно, для человека дорого. Но Правда, утверждает писатель, всё-таки дороже. Где искомая, так часто ускользающая от нас грань между Добром и Злом, между Правдой и Ложью, если ложь так искусно подражает правде? Как долго ждать, когда правда победит ложь? В «Записках мёртвого пса» у главного героя романа есть утвердительный ответ: правда умеет ждать — впереди у неё долгая жизнь.*

# Александр Балашов

## Записки мёртвого пса

### Глава 1

#### ПАШКА ШУЛЕР

Я уже позабыл, когда к Пашке приклеилась обидная кличка Шулер... В первом классе? Или раньше?.. Ну, не родился же он вместе с нею. Доктор Лукич говорил, что он долго в младенчестве, до крещения, вообще человеческого имени не имел. Мать, родившая мальчика, всячески скрывала тайну его рождения и называла его просто — «мой малыш». Но это же не имя человеческое. И даже не прозвище. Так, ласковое обращение.

В 1949 году, когда Пашке не было и года, квартировавший у матери-одиночке одинокий квартирант Фока Лукич Альтшуллер убедил атеистку окрестить болезненного мальчишку. Они отнесли мальчика в слободскую церковь Успения Пресвятой Богородицы. И батюшка его тайно крестил. Слободской священник отец Николай дал малышу имя — Павел. Имя святого Апостола. Так хотели и мать, и бывший партизанский доктор, обрусевший православный немец Альтшуллер, чьи предки прибыли в Россию ещё во времена Ивана

Грозного да здесь и задержались на вечные времена. Сегодня территорию, где родились мы с Пашкой, мой отец Клим, мать моя Дарья, где в провинциальном городке Краснослободск, выросшего из большого села Красная Слобода, уже вполне официально называют Аномалией. Правда, добавляют при этом ещё и слово «магнитная». Но это, думается мне, не столь существенно. Аномалия, она и в Африке аномалия. И хотя я не силён в астрономии, но почему-то уверен, что все мы тут, в аномальной зоне родились и живём под созвездием Псов.

Этой мыслью я, кажется, ещё в восьмом классе поделился со своим другом Пашкой Шулером. Он подумал и сказал:

— Нет, мы в нашей Красной Слободе родились не просто под созвездием Псов. Мы родились под созвездием Чёрных Псов.

Такую вот поправку внёс мой друг, можно сказать, названный брат. И я с ним тогда полностью согласился. Пашка владел тайной. У него сохранился дневник его приёмного отца, доктора Фоки Лукича, который чудоковатый слободской врач назвал странно и загадочно — «ЗАПИСКИ МЁРТВОГО ПСА».

— У него — что, партизанский псевдоним был такой — «Мёртвый Пёс»? — не раз спрашивал я друга.

Пашка всегда уходил от ответа. Но как-то ответил более или менее внятно.

— Да нет, — пожимал он худыми плечами, — просто отчим был с комплексом вины. Считал, что служил псам и сам псом стал. Отсюда и название...

— А почему — тетрадка Фоки Лукича — «Записки Мёртвого Пса»?

— Почему, почему всё кончается на «У»? — тогда странно рассмеялся Пашка. — Потому что на последней страницы своего «Евангелия от Фоки» написал, что разрешает прочесть эти записки только после своей смерти.

Странный был старик, которого я знал в детстве. Звали его немного странновато — Павел Фокич Альтшуллер. Его предки, немецкие врачи, поселились на Руси, если верить Пашке, ещё во времена Ивана Грозного. Вполне добропорядочный был гражданин. Но вся Слобода считала его сумасшедшим.

Мой закадычный друг Пашка рассказывал, что такое отношение к его отчиму пошло после того, как Фока Лукич (бывший партизанский доктор!) окрестил своего приёмного сына, то есть Пашку. Слух дошёл до Слободского комитета партии, до «компетентных органов». Фоку Лукича вызвали на бюро, исключили из партии, но из больницы не изгнали — в противном случает

Красная Слобода оставалась бы без медицинской помощи.

Странное дело, узнав от Пашки это историю, тогда думал я: всего за неделю до Пашкиных крестин, в той же слободской церкви Вера и Клим Захаровы, мои приснопамятные родители, крестили меня. Нарекли Иосифом, что в переводе на русский означает «Бог да воздаст». Иосиф Климович Захаров. Кажется, звучит... И никакой утечки информации, как сейчас принято говорить, по поводу моего крещения не было. А вот насчёт крещения раба Божьего Павла — настучали «куда надо».

Справедливости ради скажу, что большинство жителей нашего небольшого провинциального городка, названного ещё во времена Ивана IV Красной Слободой, не принадлежало к лагерю воинствующих атеистов и новость эту за новость не приняли — у всех слободчан дети были крещённые. На Аномалии без надежды на Бога — не проживёшь. И секретарь райисполкома, и председатель сельсовета, да и другие аномальные руководители, когда сталкивались с необъяснимым и загадочным (чего в любой аномальной зоне хватает), всегда тайком осеняли себя крестным знаменем. Кое-кто из них носил даже нательный крестик, снимая его только перед походом в слободскую баню.

Но только Пётр Карагодин, насколько я его помню, был не из таких. Поставленный партией над аномальным народом во главу руководства всей жизнью в Краснослободске и его окрестностях, секретарь райкома Григорий Карагодин, которого за глаза называли Гришкой Распутиным, ни в Бога, ни в чёрта не верил. После того, как «компетентные органы» компетентно доложили Гришке о «постыдном факте крещения в вверенном ему районе», он выступил по слободскому радио с разоблачительной речью. Мол, в местечке, которая спокон века называется Красная Слобода, такие вредные пережитки прошлого нужно изводить на корню. Сын героя-партизана Петра Карагодина, бывший комиссар партизанского отряда «Мститель», считал, что Слобода названа Красной, так сказать, «по коммунистическим мотивам». По аналогии с родной Красной армией, что ли... Тут надо уточнить, что красный цвет был любимым цветом власти в нашей аномальной зоне, и все официальные праздники были красными, как и красные транспаранты, красные знамёна, красные носы у демонстрантов, несущих красные лозунги у красной трибуны на площади, где стоял памятник красному герою-партизану Григорию Карагодину. Мать Павла, видно, опозорила своим поступком цвет человеческой крови, войны и всех революций, которые произошли на Аномалии.

С матерью маленького Павла так и сделали: под руководством Григоря Карагодина, тогдашнего первого секретаря Краснослободского райкома партии, «извели её на корню». Через месяц после этой радиопередачи бедная женщина, зажав вместе с нателным крестиком сына партбилет в слабом кулачке, умерла «от сердца». Так говорили бабки у водозаборной колонки. А Фока Лукич, квартировавший у наших соседей, усыновил Пашку, круглого сироту, дав ему зачем-то свою нелепую фамилию Альтшуллер, которую, когда мы начали изучать немецкий, я перевёл как *старый ученик*. (Много позже понял, что мудрый Фока Лукич был не старым, а *вечным* учеником, позже вы, надеюсь, поймёте почему).

Слово «красный», как я узнал ещё в младших классах, равнозначно нынешнему слову «красивый». Красная Слобода — значит красивая слобода. Где это? Ну, чтобы было понятнее, дам точные координаты: ехать надо от Москвы (увы, сегодня столица не внешне, а по существу, всё больше становится похожей на нашу ненормальную зону, очень большую, бурлящую, но всё-таки — Аномалию) до Курска, а от него, по старому южному тракту ровно 110 километров строго на северо-запад. И попадёте в самое чрево аномальной зоны Центральной России, там, где ещё до революции геологи нашли богатейшие залежи



железной руды. А после установления советской власти на всей территории Аномалии, моей малой родины, доложили партии и правительству, что запасов «синюшки» (руды с богатым содержанием железа) хватит аж лет на пятьсот, а бедной руды и железистого кварцита — лет этак на тысячу.

В детстве, в послевоенной слободе, жили бедно, в семье Захаровых, то бишь в моей семье, частенько не доедали. А на пустой желудок думалось легко, я бы сказал, необременённо. Вот и лезли в голову разномыслия... Так что строгая диета ещё с детских лет — это верный симптом того, что ваш сын (или дочь) станут выдающимися мыслителями. Или не станут. Но думать о жизни будут всегда серьёзно, основательно, зная точно, по чём хлеб в магазине, а по чём фунт лиха.

Как рождается имя человека? Из Космоса прилетает? Из Вечности? Не ясно мне. Раньше хоть по святцам выбирали священники. А вот с кличками всё попроще. Они рождались не сами по себе, а находились в полной зависимости от своего носителя.

Но так только казалось «на заре туманной юности».

Когда у людей не хватает фантазии, то дают клички по фамилии. Это легче легкого и, в общем-то, логично. Ведь фамилии наши когда-то

тоже произошли от прозвищ. Вот я — Иосиф Климович Захаров. Значит, в каком-то там колене был у меня предок, которого звали Захаром. Древнееврейским именем Иосиф меня называли в честь «отца всех народов» Иосифа Виссарионовича Сталина. Время было такое, послевоенное, «сталинское», позже названное «культом Сталина».

В школе меня редко называли Иосифом. Учителя чаще по фамилии. Сверстники по прозвищу — Захар. Пашка, мой сосед по дому и закадычный друг с самого раннего детства, называл Ёжиком. Имя Иосиф, и правда, в чём-то созвучно слову «ёжик». Ёжик — это ведь не кличка, это характеристика человека. А я ещё тогда напридумывал Пашке в отместку столько кличек, что сегодня, по прошествии многих лет, всех их и не упомяну: Немец, доктор Шуля... Все они подходили к нему. Были, так сказать, симптоматичны. Кроме Шулера.

Я считал, что мне повезло. Захар — это ведь даже не кличка, не прозвище. Это тоже имя. А могли бы прозвать, например, Блохой. За мой малый рост и худобу. Ведь я родился в голодном сорок восьмом. Не в районном роддоме. И даже не в доме — в сырой землянке. Дом мой бедный однорукий отец с дядькой-инвалидом поставили только к концу пятидесят третьего. На месте прежнего, сгоревшего в сорок втором.

Самая несправедливая, «несимптоматичной», как он сам говорил, из всех Пашкиных прозвищ была его кличка Шулер. Родилась она, как я думаю, от его фамилии Альтшуллер. Не улер с двумя буквами «л», от немецкого слова «улер», что означало «ученик», а — Шулер с одной «л». То есть «карточный мошенник» или просто «мошенник». Мошенником Павел не был, а в карты вообще не любил играть. Даже в подкидного дурака.

Мы учились в девятом классе, когда Пашкиного приёмного отца засадили в сумасшедший дом. Злые языки судачили, что известный всей аномальной зоне доктор, лечивший не одно поколение слободчан, с редким русским именем Фока, отчеством Лукич и немецкой фамилией Альтшуллер, съехал с катушек из-за чёрного пса, которого многие видели не только в посаде, пригороде Красной Слободы, но и в самом городе. Как-то заметили его даже у здания райкома партии, где стоял милиционер с наганом в кобуре на кожаном ремне.

Испуганные свидетели утверждали, что ужасная чёрная собака, — противоестественное существо, похожее на человека (руки, ноги, туловище, но шерстяная пёсья башка и чёрный язык, с которого капала кровь) возникало, как приведение, из огромной ямы в земле — заброшенного железорудного карьера. Наш учитель

по физике, преподававший в силу дефицита в городе педагогических кадров русский язык и литературу, не верил суевериям и объяснял массовые видения тем, что мы живём в самом центре магнитной Аномалии, которую ещё до революции открыл академик Губкин. А, мол, на Аномалии с людьми всегда ненормальные вещи происходят. Ведь само слово «аномалия» с латыни переводится как «ненормальность».

Однако в том же году, когда Пашкиного приёмного батю, «доктора Лукича», как его звала вся Красная Слобода, в смиренной рубашке, под конвоем милиции отвезли в Красную Тыру, где находился единственный в области сумасшедший дом, наш мудрый учитель своими глазами видел этого чудовищного чёрного пса. И, как он утверждал, сидя в школьной кочегарке за бутылкой самогона с Кузьмичом, подрабатывавшим в холодное время года истопником, пёс этот был говорящим (!). Правда, из-за страха, сковавшего все члены физика и лирика в одном флаконе, он не мог вспомнить, что именно говорил ему пёсо-человек. Только повторял великие слова Вильяма Шекспира, что «на свете есть много такого, друг Горацио, что неизвестно нашим мудрецам».

В том, что Фока Лукич «съехал с катушек», я даже не сомневался. Всегда хмурый, не шибко

общительный врач-пенсионер, якобы после встречи с легендарной чёрной собакой, которая открыла ему все тайны краснослободского двора, вдруг стал ходить по райкомам, исполкомам, трижды ездил в Красную Тыру и все писал, писал... Требовал, чтобы — язык не поворачивался сказать — раскопали могилу секретаря Краснослободского райкома, героя-партизана Петра Карагодина. Зачем?.. Ну, съехал человек с катушек. Жизнь-то Фоки Лукича не сахар была. А потом, зачем изводил себя писаниной, сидя за «бурдовой тетрадью» днями и ночами напролёт? В России, ещё Грибоедов говорил, горе всегда от ума.

О том, что Фока Лукич Альтшуллер уже не одно десятилетие пишет не то дневник, не то книгу или даже целую «Библию от Фоки» знала вся Слобода. О существовании бордовой тетради (сам доктор в шутку называл её «бурдовой»), конечно же, лучше всех знал Пашка. И, по его словам, он, конечно же, в тайне от автора, читал некоторые страницы «бурдовой тетради», написанные тем ужасным почерком, каким Фока Лукич выписывал всем своим пациентам рецепты на порошки и пилюли. Хорошо помню тот день, когда Пашка поведал мне свистящим шепотом заговорщика:

— Отец на первой странице вчера написал название своей писанины...

Я слушал друга, открыв рот.

— Представляешь, Ёжик, он назвал бурдовую тетрадь «Записками мёртвого пса»...

Я завидовал другу: у него была тайна. У меня никакой тайны не было. А жить без тайны, в любом возрасте, скучно. Потому что, если уже нет у тебя никаких желаний, то остаётся одно — желание поделиться хоть с кем-то своей тайной.

А потом облезлая «скорая помощь», больше похожая на самоходную кутузку, под охраной милиционеров увезла бедного Фоку Лукича в Красную Тыру. Там, на окраине старого города, в желтом оштукатуренном доме с зарешеченными окнами, располагалось страшное в своей закрытости учреждение — психбольница. Пашка жил вдвоем с отцом, по соседству с нами. Наши усадьбы не разделялись даже заборчиком или плетнем. В тот осенний промозглый вечер Пашка оставался один. Милиционеры оказались добрыми. И нам, еще безусым пацанам, разрешили сопровождать бедного Лукича до сумасшедшего дома. Я не мог бросить друга и поехал с ним, стараясь не смотреть в горестные глаза Пашкиного отца.

Мы зашли в гулкий «приемный покой» больницы, больше похожий на заплеванный вокзал станции Дрюгино, которая была у Слободы под боком. И смиренно сели на деревянный диванчик.

Серьезный мужчина в черном драповом

пальто поверх халата писал кую-то бумагу. Между делом он равнодушным треснутым голосом спрашивал Пашку:

— Больной Альтшуллер Фока Лукич — твой отец?

— Мой...

— Бывший главный врач Краснослободской сельской больницы?

— Почему — бывший? Настоящий...

— У нас тут все, — сказал принимающий, впервые подняв глаза на Пашку, — настоящие. Даже наполеоны...

Он засмеялся своей шутке. И пальто соскользнуло с его косых плеч на пол. Мужик в пальто чертыхнулся и строго спросил:

— Симптомы?

— Как, как?.. — не понял Павел.

Мужчина почти с ненавистью посмотрел на Павла.

— Я спрашиваю о характерных проявлениях, признаках болезни твоего папаши! Понял, парень?

Пашка молчал.

— Нет у него никаких ваших симптомов! — за своего друга с обидой в голосе выпалил я.

— А ты — кто? — поинтересовался врач в пальто.

— Сосед! — с пафосной интонацией, будто представлялся близким родственником секретаря

обкома, сказал я.

— А ты, «сусед», — он специально искажил слово, чтобы пообиднее передразнить меня, — вообще молчи в тряпочку. А то посажу в палату для Павликов Морозовых.

Таких «откровений» от врача государственного лечебного учреждения я никак не ожидал. И потому благоразумно замолчал в тряпочку. Но «псих», как я про себя называл этого врача, вдруг сменил настроение и фальшиво замурлыкал под нос:

— Смейся, паяц, над разбитой судьбо-о-о-ю...

И рассмеялся.

А мне вдруг стало страшно.

Пришли два дюжих санитаря, одетых в грязные халаты без пуговиц — с завязками сзади. (Как они их завязывали?). Взяли напряженно молчавшего Фоку Лукича под трясущиеся руки. Это молчание, как мне казалось, вот-вот разорвет на кусочки нашего доброго слободского доктора.

— Отец!.. — закричал Пашка.

Он подбежал к старику, упал перед на колени, обнял отцовские ноги. Санитар, как котенка, откинул худого Пашку в угол.

Фока Лукич обернулся, с мольбой посмотрел почему-то на меня:

— Только не детский дом, сынок!.. Ты к Захаровым иди... Я с бабушкой Иосифа, Дарьей



Васильевной, обо всем договорился заранее. Захаровы тебя примут, а меня скоро выпишут...

— Примут и тут же выпишут... — чему-то улыбаясь, кивал мужик в драпе. — Вы, Фока Лукич, главное не волнуйтесь... В вашем теперешнем положении это смерти подобно.

Я не случайно в начале своего повествования назвал Пашку своим сводным братом. Он три года жил у нас в семье. (Пока отца не отпустили, слово «вылечили» он никогда не употреблял.). Его раскладушка стояла рядом со старой железной кроватью в моей комнате. Из мебели — стол у окна, этажерка с книгами, три стула и деревянный диванчик с резной спинкой. Всё, начиная от самого сруба, «Захаровской крепички», как говорил мой батя, и до стульев, было сделано левой рукой Клима Ивановича, отца моего.левой — не значит «абы как». Правой руки у отца не было — пустой рукав заткнут под ремень. Но далеко не каждый и правой так мог работать плотницким топориком, как отец одной левой. «Леворукий, — повторял батя, — это вам, ребята, не косорукий. Понимать надо».

Изредка Паша бегал в свой пустой дом. Благо, что по соседству. Мне говорил, что «проверяет хозяйство». Я подозревал: ищет спрятанную Фокой Лукичом «бурдовую тетрадь», свою священную семейную тайну... Я знал, что на хозяйство Пашке

было наплевать. А вот зачем копать на пустом огороде? Даже в погребе и амбаре ямок накопал... Сущий крот.

Наша Слобода не славилась милосердной памятью. Первое время о сумасшедшем докторе зло судачили у колодцев и водопроводной колонки, поставленной в посаде в годы первых послевоенных пятилеток. Поболтали еще на свежую для разговора тему, кости помыли партизанскому доктору, удивляясь его странному требованию от властей — раскопать могилу Григория Петровича Карагодина, которого Слобода с великими почестями торжественно похоронила еще в марте в марте 53-го. Что за блажь вошла в больную голову старого лекаря?.. Одному, наверное, Господу Богу и было известно.

Потом тема иссякла. Про Фоку Лукича стали забывать. А Пашку поначалу жалели. Как и положенного «круглого» сиротинушку. Но то-то и оно, что был он не «круглый». Отец-то был жив. Подлечится — и вернется к сыну. А так ему и у Захаровых неплохо: и одет не хуже других ребят, и, чай, не голодный.

Так чего и кого жалеть, если не жалко?..

Начиная с девятого класса, я уже, можно сказать, бредил историей. И виной тому была тетрадь доктора Альтшуллера. Вся история его

жизни. Жизни слободчан. История наших детских и взрослых болезней. «История победной эйфории и припадков общественной истерии», как говорил Паша.

Это потом я полностью разделил его мысль, что история жизни — это все та же история болезни. Только записанная медицинскими терминами. Я даже разочаровался, когда Пашка впервые показал мне эту «запретную бурдовую тетрадь». Так, большая общая тетрадь в бордовой коленкоровой обложке, похожая на амбарную книгу. Открыл первую страницу. Фиолетовыми чернилами намазюкано неаккуратной рукой: «Записки мёртвого пса». Вспомнились Гоголевские «Записки сумасшедшего». Как у Гоголя. Только кому, тогда думал я, нужны эти обрывочные мысли о жизни, о гипнозе и прочих медицинских экспериментах, фрагменты историй болезни его пациентов, куски начатых и недовведенных до конца доктором каких-то рассказов или даже романов, рецептов, как выздороветь не только человеку, но и целой стране?..

В шестьдесят седьмом, в своем доме, что до сих пор стоит по соседству с моим, в своей постели тихо и незаметно для всей Слободы умер первый в истории нашего не то большого села, не то захолустного городка («серединка-наполовинку», как говорил Паша) доктор. «Бедный Лукич, —

жалел я старика-соседа, — он так и не оправился от своей болезни: до последнего вздоха бегал по райкомам, исполкомам — требовал какой-то непонятной всем «эксгумации». И так, увы, бывает на закате жизни: не живет — бредит человек.

Тайну своей семьи — «ЗАПИСКИ МЁРТВОГО ПСА» — Пашка показал только своим самым верным друзьям — мне и Маруси. Сказал, что это рукописная книга — запрещенная. И ещё таинственно произнёс:

— Вот, брат, время разбрасывать камни и время их собирать...

Моргуша тут же выдала ахматовские строчки, «со значением» поглядывая то на Шулера, то на меня:

*— Я была одной запретной книжкой,  
К ней ты черной страстью был палим.*

Я только пожал плечами: мол, никакой страстью я не палим, а это не запретная книга. Просто амбарная книга, исписанная неразборчивым докторским почерком. Что тут вообще может быть таинственного, а тем более — запретного? Это не ускользнуло от моего «сводного брата Павла.

— Рано тебе, брат, «Евангелие от Фоки» читать, — как всегда, с подковыркой, сказал он. — Во-первых, поумнеть тебе, Захар, надо. Во-вторых,

опасно. В-третьих...

— Что «в-третьих», Шулер? — обиделся я.

— В-третьих, считай, что ее уже нет. Я её как бы сожгу, а когда придет время, половину отдам тебе, а вторую половину возьму себе... На память.

Я с опаской посмотрел на своего друга, опасаясь: уж не заразился ли и он этой странной болезнью от своего бедного отца?

— Как это — «сожгу»... Как же мы её тогда «потом» поделим?

— Для конспирации. Читай журнал «Москва». Сделать это все равно невозможно. Булгаков утверждает, что рукописи не горят...

— Клинопись на глиняных дощечках? — не понял я.

— Просто — рукописи. Даже такие «бурдовые», как эта тетрадка...

— Ну, и Шулер ты, Пашка! — сказал я тогда. Не зря все-таки тебя такой кличкой наградили.

Но я-то, как никто другой в Слободе, знал: ну, какой из него шулер? После отправки его отца в сумасшедший дом, что очень навредило Пашке на всю оставшуюся жизнь, он целую зиму и весну был молчалив и угрюм. И чтобы хоть как-то смягчить удар судьбы я, азартный картежник дядя Федя, отцов брат, мама и мой батя — вся моя тогда еще живая родня — пытались растормошить Павла к жизни. Вечерами мы все вместе играли в

«подкидного» или в «переводного» «дурочка». Он всегда отказывался от карт. Тогда мама брала мешочек с бочонками, раздавала нам карточки лото. Потом, шумно перемешивая деревянные фишки в черном сатиновом мешочке, с каким-то вызовом выкрикивала:

— Топорики! Барабанные палочки!..

— Простите, Вера Павловна, — извинялся он перед мамой. — А можно и в лото без меня?.. Я, с вашего позволения, почитаю. Из читального зала журнал дали только на одну ночь...

Ну какой он после этого — шулер? Ни куража, ни азарта, ни элементарного обмана.

Я уже тогда готов был отдать руку на отсечение — с такими, «чисто курскими», курносими носами шулеров вообще не бывает... Еще живая тогда моя бабушка Дарья, глядя на Пашу, только качала головой: «Не пойму я, Пашутка, и на кого ты похож?.. Что не на Лукича — это точно». — «В проезжего молодца, баба Дарья, я, — улыбался Пашка. — Я на маму похож. Она, отец мне рассказывал, была красавицей, кубанской казачкой»... — «Да-да, — кивала бабушка, с велосипедной скоростью крутя в руках вечные спицы. — Знала я казачку Надю. Лукич ей в отцы годился, но любовь зла. А как тебя-то она любила! Души в тебе не чаяла. Рано овдовела... Спасибо Лукичу, кончено. Он ведь тебе, Паша, и мать, и

отца заменил».

Я не физиономист. Сейчас, когда жизнь побила, потрепала, как пеньку и в слезах вымочила да высушила, понимаю, что форма частенько не соответствует содержанию.

Но тогда я был уверен: лицо, как и прозвище человека, — это, так сказать, симптом, характерный признак будущей судьбы. Как и уши.

Вот у меня уши похожи на два унылых лопуха. И я с детства точно знал, что большого человека из меня не получится никогда. Ну, где вы видели лопухого лауреата Нобелевской премии?

Мои уши — это симптом. И этот симптом прямо указывал мне дорогу в пединститут. Пашка говорил:

— Ума нет — иди в пед. Стыда нет — иди в мед. Ни того, ни другого — иди в политех. И помни, брат Иосиф, ничто так не объединяет людей, как общий диагноз. Даже пролетарии всех стран не могут объединиться так, как маленький, но сплоченный коллектив лепрозория. Угадай свой диагноз — попадешь в яблочко жизни.

И я пошел (точнее — поехал) в пед. Потому что, наверное, ума еще было маловато, к тому же учитель, по моему мнению, может быть с любыми ушами. И с любым прозвищем, которое, как и все имена рождаются не на земле, а где-то в космосе. Там, где лукаво перемигиваются сине-зеленые

огоньки созвездия Большого Пса и Пса Малого...

Я пораскинул мозгами и решил, что мои развесистые уши нисколько не помешают мне стать историком. И, отслужив в армии, где мой симптом все-таки не позволил мне даже к долгожданному дембелю подняться выше непочетного войскового звания «ефрейтор» (что в переводе все-таки означает — «старший солдат»), я поехал в далекий город поступать в педагогический.

В приемной комиссии седовласая женщина в мужском, как мне показалось, пиджаке с орденскими планками на груди (видимо, вместо броши), глядя на мои уши, спросила баритоном:

— Откуда ты, прелестное создание?

— Из Красной Слободы...

Мужеподобная женщина сняла круглые очки в проволочной (это не метафора) оправе и почему-то очень удивилась. Думаю, её удивление, наверное, было бы меньше, если бы я сказал: «Сошел с Берега Слоновой Кости».

— Из Слободы? Это что под Красной Тырой?..

— Под како-такой Красной Дырой? — обиделся я.

— М-да... Как говорили древние, «ниль адмирари» — ничему не следует удивляться. Мальчик учился в глухой провинции... Глухомань, словом.



— Да, из Слободы! — попёр я, не разбирая лиц и званий. — Недавно ее переименовали в город Краснослободск! — с вызовом и интонациями спустившегося в долину дикого горца бросил я председателю комиссии. — Между прочим, слобода в России, до отмены крепостного права, — это большое село с не крепостным населением, а также торговый или ремесленный поселок. До 17 века поселение освобождалось даже от княжеских повинностей...

— Стоп, машина! — скомандовала тетка, как капитан корабля — Уже вижу, как на моих глазах учитель истории умирает... В тебе.

Она достала пачку «Беломор-канала», зажгла папиросу бензиновой зажигалкой с ребристым колесиком (скорее всего, времен первой мировой войны), подвинула к себе массивную пепельницу, полную жеваных окурков, и, что-то пометила в журнале.

— На истфак! — скомандовала она. — И не обижайся. Это ведь я так, пошутила... По-солдатски, по-фронтовому. Слобода твоя пока одним знаменита. Её царь в свое время гетману Мазепе подарил. Ну, тому самому, Иуде-Мазепе. Потом, разумеется, отобрал... Населения — с гулькин нос. Промышленность — местная: маслобойня да мухобойня, как я говорю... Но первыми в губернии колхоз образовали, первыми

партизанский отряд создали, первыми памятник павшим партизанам на собранные народом деньги поставили... Для историка — обширное поле. Как говорят археологи, есть, где покопаться.

И представилась, протянув мне крепкую жилистую руку:

— Роза Сидоровна Феоктистова, декан исторического факультета. Так что на истфак, солдатик! Гони, солдат, документы!

Будучи всего ефрейтором, то есть старшим солдатом, я не посмел ослушаться команды председателя приемной комиссии.

Она взяла мой пакет с документами и потрясла его над столом так, будто хотела всю душу из меня вытрясти, узнать подноготную.

— Так, аттестат сойдет, анкета вполне... — попыхивая уже новой папиросой, говорил председатель, — не был, не состоял... Справка с последнего места работы, районного партархива, это оч-чень хорошо... Так... А где характеристика?

— В архиве я всего месяц проработал, после армии... Ко мне, к заявлению то есть, армейская приложена. Смотрите дальше...

— Смотрим дальше... Так, ага, вот и она. Так... Ага... Угу.... — читала она, одобрительно кивая. — Отличник боевой и политической, морально устойчив, член, член... Хорошо! Редактор «На боевом посту»... Здорово! Всё. Считаю, солдат,

ты принят.

— Спасибо, конечно, — с почтением поклонился я. — А как же экзамены?

— Это уже вторично, — кивнула она. — Главное, мне как историку подходит твоя история жизни. Биография важнее самого человека.

Я отошел от стола приемной комиссии, но Роза Сидоровна меня остановила и, по-матерински глядя на меня (чем-то я этой тётке явно приглянулся), посоветовала:

— Все-таки, солдатик, на всякий случай, доклад о культуре личности повтори... На культуре и на решениях последнего исторического партсъезда валят вашего брата.

— Я могу рассказать об истории Красной Слободы. Наш городок существует со времени Ивана IV, по прозвищу Грузный.

— Это лишнее.

— А что не лишнее?

— Решения съезда. Вот их ты, как поп «Отче наш» должен знать на зубок.

Доклада партийного я в глаза не видел, про историю партии, как говорил поэт, «ни при какой погоде не читал».

— А где «всё это» взять? — обернулся я к Розе Сидоровне.

— Эх, слобода ты моя, слабота... — покачала она седой головой. — В учебнике не ищи! Учебник,

по которому ты учил историю в школе, уже переписан. Под новой редакцией вышел... Сходи в читальный зал. Там тебе и новый учебник, и все исторические съезды отдельной брошюрой выдадут.

— Обязательно схожу! — пообещал я.

Мне, тогда глубокому провинциалу и новоиспечённому абитуриенту, было невдомёк, что вот так, запросто, в угоду новой власти перекраивается и история моей малой родины — Аномалии. Один из кусочков большой истории России. Но даже кусочком подлинной истории, понимал я, вчерашний школяр, надо очень и очень дорожить.

...Через четыре года я вернулся в Краснослободск, как переименовали нашу Красную Слободу, придав ей статус города. Вдали от Аномалии мне казалось, что вот теперь моя малая родина рванёт и возьмёт своё у седых патриархальных веков, ведь по непреложному закону все должно течь и изменяться. Но оказалось, что и этот неписанный закон на Аномалии не работал: всё текло, но ничего не менялось. Как была она Слободой, возникшей ещё во времена Ивана Грозного, больше похожей на огромное село, чем на маленький городок, так Слободой и осталась. Населенным пунктом с обидным

прозвищем — «смычка между селом и городом». Что, на мой взгляд, было хуже — не село уже тебе, но ещё и не город.

Это тоже был симптом времени. Исторический симптом. Который я просто «констатировал» (Пашка всегда это слова писал через «Н», наверное, думая, что русские позаимствовали его у турок из Конста<sup>Н</sup>тинополя). Тогда я не склонен был к обобщениям, понимая высказывание одного классика по-своему «Прошлое оплачено, настоящее ускользает, будьте в будущем» так: настоящее — ничто, будущее — всё, а прошлое... оно и есть прошлое, то есть прошедшее. Чего о нём много говорить?

Все лучшие мысли в наших наивных школьных сочинениях, начиная с младших классов средней школы, были в основном о «светлом будущем». Шулер Пашка склонялся к прошлому и настоящему. Иногда даже опасно «обобщал». И это нашим педагогам категорически не нравилось. «У нас есть отдельные недостатки, — учил нас наш любимый учитель истории (он же директор Слободской школы) Тарас Ефремович Шумилов, — но зачем обобщать? Мы с вами не сумасшедшие Гоголи какие-то, а граждане советской страны».

Тогда, десятом классе, я с ним поспорил, доказывая, что коллективизация тоже было своеобразным «обобществлением» молодым

советским государством русского крестьянства, которое постепенно и привело к полному вымиранию крестьянства как мелкобуржуазного класса. За эту теорию «обобществлённого русского крестьянства» Тарас мне вклеил в дневник жирную двойку с минусом. Причём минус был такой длинный, что ужасно обезобразил всю страницу, которую я потом аккуратно удалил с печальными последствиями для самого себя.

— Страхуется, — сказал Пашка, откровенно любуются художествами Тараса. — Смелые открытия и свежие воззрения косной общественностью всегда сначала принимаются как записки сумасшедшего... Так что смирись, старик! Время рассудит вас с Тарасом.

Время не рассудило. Директора школы к моему возвращению в Красную Слободу, разбил инсульт. Он потерял память, плохо говорил и по инвалидности вышел на пенсию.

Последний раз я видел Тараса Ефремовича в нашей слободской больнице, где перед началом нового учебного года я проходил медкомиссию. Я был горд, что стал учителем истории. Учить пацанов и девчат своей истории, думал я. Что может быть благороднее и нужнее для будущего гражданина? Можно не знать таблицу умножения — и это не станет жизненной трагедией. Но не знать своих корней, стать Иваном, не знающим

родства. Выродком, другими словами.

Пашка после окончания медицинского института тоже вернулся на Аномалию, в Красную Слободу, простите — в Краснослободск. В ту же самую больницу, где когда-то работал его отец. Он думал, что я забыл про «Записки мёртвого пса». А я помнил.

— Когда подаришь «бурдовую тетрадь»? — напомнил я другу. — Я закончил институт с красным дипломом. Хочу написать историю нашего городка, проследить судьбы поколений, ну, и вообще интересно как историку...

Этот аргумент, видимо, не убедил его.

— Очередная сага о Форсайтах, — съязвил он.

— Я не шучу. Ты же обещал...

— Дам, дам, но только когда постигнешь диалектику «Чёрного пса».

— Что это за ересь? — деланно засмеялся я. — У собак нет никакой диалектики.

— А вот наш физик, помнишь, эту диалектику знал, — ответил Пашка. — Жаль, что залечили его до смерти в сумасшедшем доме. Но, говорят, умер с покаянием на губах. А вот некоторые новоиспечённые историки, ее не понимают...

— Историки мифами и легендами не занимаются. Это ближе филологам.

— А это не легенда, — серьёзно ответил он. — Это сушая правда. Реальность нашей

Аномалии.

— Можно поконкретнее?

— Начнём чуточку издалека, — начал Павел. — Ты согласен, что на каждый электрон с положительным зарядом есть электрон с отрицательным зарядом, у каждого протона есть антипротон, если есть материя, то обязательно должна быть антиматерия.

— Ну, согласен...

— Так и любая человеческая история, то есть жизнь наша, — это палка о двух концах. Если на одном конце Добро, то на другом обязательно Зло. Бог и Дьявол. Всё в вечной борьбе, в вечном антагонизме и в великом единстве. Значит, если бы не было зла, не было бы и добра...

Я скептически усмехнулся:

— Чушь, а не теория «Чёрного пса»... «Дьяволу служить или же Богу — каждый выбирает по себе». Дай лучше «Записки» Лукича почитать...

Но он меня не слышал.

— Победа и поражение...

— Что, победа и поражение? Палка о двух концах?

— Эх, Ёжик, Ёжик, без головы и ножек. Значит, ты еще не ощущал в сладости победы обязательной горчинки поражения. Ну, ничего. Придёт время, и чёрный пёс всё поставит на место.

— Простите, будущий Гиппократ, это вы о



чём?

— Бог простит. А вот пёс — вряд ли.

— Ну, не будь тем, чем ворота подпирают. Дай почитать «Записки».

— Учитель, перед именем твоим позволь не преклонять мои колени.

— Хватит жмотиться. Фока Лукич, будь он жив, тебя б благословил...

Подслушай тогда нас, молодых специалистов, дипломированных врача и учителя, хоть кто-нибудь, точно бы решил для себя — это разговор двух сумасшедших. Но такими мы были всегда. Такими мы и остались. Потому что времена, конечно, меняются. Но не меняется наша сущность.

А Пашку я тогда уговорил сделать моим дорогим аппаратом «Зоркий 4С» фотокопии «Библии от Фоки». Хотя бы нескольких первых страничек. Я продолжал верить, что в этой «бурдовой тетради» Лукича кроется великая тайна и великая правда. И когда эта великая правда будет мне известна, я смогу снять проклятие Аномалии, которое, по моему глубокому убеждению, и не давало Красной Слободе, а ныне Краснослободску, стать городом любви, процветания и благоденствия.

Ещё в десятом классе, когда Немец (это одна из кличек Пашки Альтшуллера) пообещал мне подарить «Библию от Фоки», у меня в душе

затеппился огонек надежды: придет время — и я открою тайну проклятия Красногорска! Все тайны мира для того и существуют, чтобы их открывали. Пусть не сразу. Пусть через десятилетия. Но — открывали.

Позже ко мне пришла идея, отталкиваясь от фактов, приведённых доктором Лукичом в «Записках мёртвого пса», самому написать историю Аномалии и Красной Слободы, сагу о семьях Захаровых и Карагодиных. Я завёл отдельную тетрадь, которую назвал «РАЗНОМЫСЛИИ». Это не была краеведческая работа в традиционном понимании самого жанра литературного краеведения. Просто я, Иосиф Захаров по прозвищу Захар, оживил в тетради ту правду, которой заразился и выстрадал её до конца бедный Фока Лукич.

Наверное, это был тоже «синдром пса». Как сейчас понимаю, я примеривал древний кафтан летописца, острил свое гусиное перо, окунаясь в *tempri passati*<sup>1</sup> «и вином не магазинным в прошлом веке душу грел»...

Я чувствовал, что заразился от «Записок мёртвого пса» редкой и неизлечимой болезнью. Это было — предчувствие судьбы. Предтеча страшного

---

<sup>1</sup> Прошедшие времена (итал).

откровения. Почти библейского Апокалипсиса <sup>2</sup>. Постыжение не то будущей победы, не то будущей моей беды. Хотя, как я сейчас понимаю, эти две подруги порознь никогда не ходят.

Пашка не обманул. Уже тогда, в первый год моего учительства в Слободе, он подарил мне несколько страничек из секретной «бурдовой тетради» сумасшедшего летописца (так многие думали) нашей Аномалии. Они, эти странички, переснятые фотоаппаратом с насадками, до сих пор хранятся в моем писательском архиве.

На титульном листе — название труда всей жизни слободского лекаря было густо замазано чернилами. Потом шло следующее, старательно, я бы сказал, с любовью, выведенное автором, а не нацарапанное торопливым корявым почерком провинциального доктора:

### **«ЗАПИСКИ МЁРТВОГО ПСА»**

Остальное приходилось расшифровывать,

---

<sup>2</sup> Апокалипсис — (от гр. apokalupsis, букв. откровение; часть Библии, одна из книг «Нового завета», содержащие мистические рассказы о судьбах мира и человека, пророчества «о конце света».

по-другому и не скажешь. Работа нудная, кропотливая — каждый из нас знает, что такое почерк врача.

*«Начато мною, Фокой Лукичом Альтишуллером, 5 сентября 1921 года, в день моего приезда в Красную Слободу. Разрешаю прочесть и обнародовать только после моей смерти. Поэтому не удивляйся, читатель, что сегодня я снова открыл титульный лист и уже на смертном одре не послушной мне рукой вывел вымученное бессонными ночами название моему повествованию: «Записки мёртвого пса».*

*Если наберешься терпения и дочитаешь до конца, ты поймешь, почему я так назвал свои лекарские наброски. Мне казалось, что Правдой своей я задушу пса на его же цепи.*

*Но мне это только казалось. Пёс оказался сильнее меня, возможно, он вообще бессмертен. Он способен возрождаться из небытия, восстать из огня, из пепла, возвращаться к живым из самой преисподней. И некоторые страницы этих записок начертаны в невыносимой борьбе с его когтистой лапой. Так что будь осмотрителен. Он разбередит любую душу, успокоившуюся после давнишнего преступления. Даже у мертвого пса, восставшего из могилы, — страшная энергия неведомых нам потусторонних сил Аномалии. Огненные искры чёрного пса, вылетающие из его глаз, убьют твоё спокойствие, не даст дожить тебе в мире с самим собой. Он воскрешает в памяти всё, что человек старается забыть и стереть из неё, за что он*

*сам себя судит Страшным Судом своей совести.*

*Единственное спасение от чёрного пса, как учил старец Амвросий, это покаяние. Но не всякому покаянию он верит. Если оно неискренне, то будет грызть твою душу, пока не утащит тебя в свою огромную яму, что в южной части железного карьера нашей Аномалии, где и прикончит.*

*Я поведу тебя, читатель, по лабиринту противоречий, так как я, старый врач, знающий симптомы страшной болезни и почти докопавшийся до причин её возникновения, признаюсь тебе: пёс одолел и меня. Тебе, живущему после меня, я предоставляю полное право резюмировать, согласовывать мои заметки с твоим сердцем и разумом, чтобы вывести из моих личных мнений общее суждение о прошлом. Без этого знания ты не сможешь заглянуть в будущее.*

*Сейчас, когда ты читаешь эти строки из «Записок мёртвого пса», я уже нахожусь по другую сторону светлого мира. И прошу только об одном: не суди меня, уже мёртвого пса, по зыбким и изменчивым законам новой жизни. Суди с позиций человека. Любому человеку свойственно ошибаться. Ведь каждый из нас, грешных, не раз за свою жизнь переступал незримую нравственную черту внутреннего закона, данном нам Создателем. Человеку свойственно оправдывать самого себя и свои деяния, пусть и самые неблагоприятные. Но каждый шаг, если это шаг к преступлению, не ускользает от чёрного пса, его всевидящего звериного ока. Он фиксирует его, запоминает, суммирует, готовя бессмертную душу нашу к ответу. Сперва перед самим*

собой, а потом уже на Страшном Суде — перед Богом.

Из меня, слава Богу, получился плохой судья. Путешествуя по кругам ада нашей Аномалии, я так и остался «слободским лекарем», а не мудрым летописцем. Тем самым знахарем, который, замечая симптомы, не видит главного — причины болезни, путает причины со следствием. Да я — доктор, и хорошо знаю, что «синдром пса» — болезнь в высшей степени заразная. И опасная. Это, разумеется, зло для умиротворённого, довольного собой человека. Но зло — необходимое.

Надеюсь, что ты меня поймёшь. Именно это я постарался передать тебе в своих неумелых литературных опусах, которые ты, наряду с моими профессиональными заметами, размышлениями, думами о былом найдешь в этой тетради.

Я не писатель и никогда не стремился развлекать благородную публику словами. Писатель, не мыслящий себя от публичного прочтения и писательской славы, — не свободен. Я, не писатель, я врач и потому свободен в выражении своих суждений и мнений, свободен для Правды, которую завещаю моему единственному сыну Павлу донести до потомков только через тридцать пять лет после моей смерти, которая уже давно поджидает меня у логова чёрного пса. Надеюсь, что через 35 лет эта тетрадь уже не будет столь опасна и не навредят моему сыну и всем, кто соприкоснется с «Записками мёртвого пса». Если же я ошибаюсь, тогда моя последняя воля: сожгите тетрадь, а пепел развейте на моей могиле.

Сегодня ночью «чёрный пёс» приходил и ко мне. Пока в метафорическом смысле. (Тут я под словосочетанием «чёрный пёс» подразумеваю разбуженную, восставшую из могилы, куда её я старательно захоронил, мою совесть). И я всё припомнил. Всё, начиная с самого начала моего жизненного пути. Историю великого обмана и великой иллюзии о царстве добра и социальной справедливости, построенного на крови.

Вспомнил, как я, лейб-медик в четвёртом поколении, оказался олухом царя небесного, поверив фарисеям во власти. Лжепророкам. Преступникам и отступникам от веры и своего народа. Я, конечно, виноват, потому что это и я возводил на крови «царство социальной справедливости и равенства». А счастье на крови не стояло и не стоит.

Сколько воды, слёз, крови утекло за годы этого строительства!.. А ведь нужно было вспомнить то, что уже было на Земле. Много-много веков назад, когда те, прежние фарисеи, очень похожие на нынешних, спросили Иисуса Христа: «Скажи, когда придёт Царствие Божие?». И Спаситель ответил: «Не придёт Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно, здесь, или, вот — там. Ибо Царствие Божие внутри вас есть».

Потому Царствие Божие нужно искать здесь, на Аномалии, где мы живём, где поставлены Промыслом Божиим. Царствие это не в «измах» — «социализме», «коммунизме», «капитализме». Это всё словесные извороты, придумки современных фарисеев. Ищите

*Царство Божие в самих себе, в сердце своём. Покайтесь перед Богом, собой и людьми, к чему принуждает вас бессмертный чёрный пёс. Тогда всё противное воле Божией станет и вам омерзительным».*

Это было горькое откровение Фоки Лукича, прошедшего вместе с русской армией по горящим дорогам Первой мировой, принявшего и революцию, и красный кровавый террор в Красной Слободе, опьянённого речами новых лжепророков и потому яростно строившего новое «царствие добра и социальной справедливости». И только много лет спустя, с приходом к нему «чёрного пса» понял, что строил это «царствие» на крови земляков... Было, конечно, в чём покаяться русскому интеллигенту с древними германскими корнями, тайно носившему на груди православный крестик, было... Но ведь это он, Фока Лукич, был с непокорным слободским народом в Пустошь-Корени, дремучем лесу Аномалии, лечил партизан, воевал с фашистами. Этнический немец, предки которого не всегда по-матерински ласково были приняты Россией-матушкой, стрелял и убивал, наверное, немцев-оккупантов. Своих бывших одноплеменников! Так думал я, расшифровав каракули Лукича на титульном листе его откровений: *«Записки Мёртвого Пса», прочесть только после моей смерти».*



## Глава 2

# СИМПТОМЫ И СИНДРОМЫ 3

Прочитав инструкцию епископа Шлезвинга, узнав о «синдроме чёрного пса», которым, якобы заразился и сам слободской врач, я еще раз пожалел бедного Фоку Лукича. А заодно и его сына — моего друга Пашку, всегда доказывавшего мне, что его отец, которого все считали сумасшедшим, — «единственно здравомыслящий человек в Слободе да и вообще на всей Аномалии».

Да простит мне мой читатель обилие медицинских терминов. Но мой лучший друг — доктор Павел Альтшуллер — любит повторять слова, сказанные еще его отцом: «История любой болезни — это история жизни». Другими словами, как живем, так и болеем. А как, а главное — чем — болеем, так и живем.

По Пашкиной теории получается, что симптомы прошлой жизни — синдромы будущей болезни, возможно, даже со смертельным исходом

---

<sup>3</sup> Синдром (мед.) — сочетание признаков (симптомов), имеющих общий механизм возникновения и характеризующих определенное болезненное состояние организма.

в самом конце. Ну как ему было не поверить, если, испустив первый крик в роддоме, мы тут же, с первых минут жизни, начинаем неумолимо приближаться к собственной смерти. Знаем об этом, но радуемся жизни. И боимся смерти. Потому что жизнь и смерть всегда рядышком. Порой эти антиподы отделяют лишь едва уловимое — «чуть-чуть».

И все же, по-моему, — это эклектика. Сочетаемость не сочетаемого. Нормальный человек, несмотря на старую латинскую поговорку, призывающую нас думать о смерти, о ней, если нет ни симптомов, ни синдромов, думает очень редко. Или вообще о ней не думает. Нормальный человек о плохом, дурном, постыдном для себя, старается не вспоминать и не думать. Так мы устроены. Так работает наша память — в щадящем режиме. Говорят, что даже серийные маньяки, убившие по два-три десятка человек, хоронят эти воспоминания в самые тёмные глубины своей памяти. Стараются закопать свою больную и почерневшую совесть поглубже, чтобы не терзала душу. Чтобы весело и легко жить дальше. Такие вот торжественные погребение собственной совести.

Не знаю, согласен ли с этим Пашка Альтшуллер, наш доктор Шуля, который, слава Богу, всю жизнь рядом со мной и как сосед, и как верный друг. Друг единственный, который ещё ни

разу не бросил товарища в беде. Пятьдесят лет нашей мужской дружбе стукнуло — это что-то да значит. Прошла проверку и медными трубами, и огнём, и водой, и достатком, и бедностью... Ничто её, слава Богу, не берёт.

Тут за примерами далеко ходить не надо. Только вчера ко мне зашел доктор Шуля, принес пузырек дорогого по нынешним временам немецкого лекарства, понижающего сахар в крови. Знает, что я, безгонорарный писатель, практически сижу шее Маруси, Моргуши, как мы прозвали одноклассницу еще в школе. (Прошу не путать с Марго, что пишется через «а». Моргуша пишется через «о», от слова «моргать»). Перед тем как заплакать, Моргуша и сегодня часто-часто хлопает своими пушистыми ресницами, а потом уже по щекам катятся её солёные-пресолёные слёзы. Гораздо солонее, чем у меня. Я не раз пробовал их языком, когда целовал её мокрые жены).

— Коррупция и отечественная медицина. Кто кого? — сказал я, радуясь его приходу.

— «Коррупция»... — передразнил он меня. — Подбирайте слова из литературного словаря, инженер человеческих туш. Выписал одной старушке по бесплатному рецепту, а та взяла и померла намедни... Баба с возу, бедному государству легче. А тебе со своим статусом «скрытого безработного», коим, судя по полису

медстраха, коим ты и являешься на сей момент, бесплатные лекарства от милосердного государства не полагается. Земную жизнь пройдя наполовину, ты оказался в сумрачном лесу.

— От покойницы не возьму.

— Ну и дурак, — сказал Пашка. — Это от меня, а не от покойницы.

— Тогда другое дело.

— И вообще, человек с именем диктатора, вы, вы, Иосиф, приносите в последнее время мне исключительно головную боль. Не сосали бы в детстве петушки на палочке, которые на базаре продавала приснопамятная Гандониха, не требовалось бы вам сегодня дорогостоящее лекарство. Синдром сладкой жизни.

Я обиделся:

— При чем тут петушки на палочке? Когда это было-то?

— Вот тут, дорогой исторический писатель, ты сильно ошибаешься, — засмеялся он. — Объясняю, как на лекции о сетевом маркетинге, где каждый жаждет обмануть ближнего и даже дальнего своего. Твоя сегодняшняя боль в одном месте, например, в руке, может быть вызвана падением и травмой позвоночника три года назад.

Удивительно: откуда он узнал про мою боль в руке? Я стал, что было три года назад, но ничего конкретного не вспомнил.

— А три года назад я не падал, — сказал я. — Я больно шмякнулся в прошлом году, когда гололед провода на столбах рвал...

— Да это я, инженер человеческих туш, к примеру... Ну-ка, Захар, покажи язык!

Я показал, сказав при этом: «Бэ-э-э...».

— Синдромы налицо, — самым серьезным образом произнес Доктор Шуля. — Нарушение социального контакта и заметное эмоциональное обеднение...

— Дурак!

— Сам больной, а не лечишься.

Моргуша, наблюдавшая эту сцену со стороны, выронила из рук чашку, которую она протирала полотенцем, и прикрикнула на нас, уважаемых пожилых (то есть тех, кто уже достаточно продолжительный период прожил в жизни) людей:

— Ну, чисто дети малые!.. А обоим вот-вот на пенсию! Прекратите эту аномалию...

Она так и сказала — «аномалию», ненормальность, другими словами.

— Магнитная аномалия, — сказал Павел Фокич голосом диктора федерального телеканала, — даёт стране миллионы тонн руды. Спасибо тебе, аномалия-кормилица, аномалия-спасительница!

— Я про другую аномалию, — перебила его супруга, накрывая на стол. — Про ваше постоянное

дурачество... Нельзя же быть вечными шутами. Особенно сейчас, когда время такое...

— Какое?

— Время серьезных людей, — серьезно сказала Маруся. — Шутам место в шоу-бизнесе.

Пашка развел руками:

— Увы, несравненная Моргуша, — нам туда с Захаром уже поздно...

— Все ниши заняты, — добавил я. — Никаких перспектив.

Павел Фокич добавил:

— Нам оставили голую самодеятельность... А потом, заметь, Марусенька, что сегодня и всегда все величайшие глупости на нашей старенькой планете делались с серьезными лицами. Мы ж родились, чтоб сказку сделать былью. Вот и осушали болота, заболачивали пустыни и поворачивали сибирские реки вспять. Доповорачивались...

— У всех начальствующих кретинов, как правило, весьма значительные лица, — вставил я. — Поэту из них получают начальники.

Моргуша тоже спустила с цепи своего твякающего Дружка:

— Кретинизм — это аномалия со знаком минус. Гениальность — та же аномалия, только со знаком плюс. Нормальный человек где-то посередине.

— Симптоматично, —                      глубокомысленно

заметил доктор Шуля.

— Скорее — синдроматично, — сказал я, на ходу придумывая наукообразное словечко.

Мы сели обедать. Борщ был украинским, но без сала. (Терпеть не могу сала в борще).

— У меня был знакомый хохол, — сказал за обедом Паша, — по фамилии Борщ.

— Это не фамилия, — сказал я.

— А что?

— Это судьба, — ответил Павел.

— Это прозвище, — поправила Моргуша. — Иосиф целый трактат про слободские прозвища когда-то написал. Ну, ты, Паш, помнишь... Так хотя бы рубль за такое исследование дали!..

— Хорошо, что в морду не дали, — обжигаясь борщом, сказал Павел Фокич. — С прозвищами и кличками связываться опасно. Это вам не «обтекаемое враньё» под названием «служебная характеристика». Прозвища не врут. Да, Ёжик? Или Ёсик? Тебя ведь в честь Иосифа Виссарионовича назвали родители?

Я обиделся.

— Батюшка в церкви имя из святцев выбрал. Сказал, что имя — это вечность.

— Имя — это судьба, — поправил меня друг.

Супруга говорила чистую правду. Я действительно написал большой труд, собрав и проанализировав все слободские прозвища,

которые собирал «по крупичкам», как пишут в газетах, все свои «лучшие журналистские годы жизни». Годы, утекшие сквозь пальцы в редакции газеты, утверждал Пашка, для вечности потеряны навсегда.

Прозвище, прилетевшее к человеку на Аномалию с созвездия Чёрного Пса, — это уже синдром будущей перекрученной временем судьбы, считал тогда я. Не изменил своего мнения и сегодня. Синдром будущих побед и поражений. Ведь синдром — это сочетание симптомов, характерных для человека, к которому это прозвище прилепилось. Оно симптоматично по отношению к характеру, привычкам, наклонностям или самой сути человека. Но порой прозвище может быть специфическим, уничтожающим внешние признаки своего происхождения, но всегда указывающие на глубинные причины, скрытые от торопливого и неглубокого ума.

Лет двадцать назад, когда мне слободская власть предложила возглавить районную газету «Краснослободские зори» (в тот год долго болел, а потом умер ее послевоенный бессменный редактор, бывший герой-партизан Борис Сирин с нехорошим прозвищем Сирька) я даже собирался опубликовать что-то вроде научнообразной работы «Прозвище и судьба». Несмотря на природную лень, начал работать над брошюрой: записывал клички и



прозвища в толстую тетрадь, научно размышляя над судьбой человека и его прозвищем... В райкоме партии меня высокомерно одёрнули: «Что значит доверять партийную печать беспартийному редактору! Это же полный абсурд! Судьба человека — это судьба нашей партии и нашей советской родины, уверенно устремлённой в будущее под руководством партии!». Я, глядя в окно, чуть заметно кивнул. Не в знак согласия. Скорее, чтобы меня досрочно не сняли с должности. Но в душе и тогда (и сейчас) был уверен, что не только в имени, но и в прозвище зашифрована судьба человека, его взлеты и падения, преданность и предательство, подвиги и преступления. Прозвище — главная характеристика, которое, думаю, должно, как и ФИО, указываться в анкетах и резюме при приёме человека на работу.

Пашка еще тогда не давал мне права, «трепать его честные прозвища». А без его примеров труд был бы не полным.

Пашу Альтшуллера всегда называли по-разному: кто Шулером, кто за его худобу Щупером, кто почему-то Шпулером, кто — наверное, по этническому принципу — Немцем. Потом уже, когда после окончания мединститута он вернулся врачом в слободскую больничку, стали звать доктором Шулей... Почему «Шулей» —

никто не мог объяснить. Просто Шуля — и всё. Тут и улыбка с чувством некоторого превосходства над «белым халатом», и вся тебе слободская симпатия, уважение подвыпившего человека с панибратским акцентом к простому слободскому лекарю, такому же олуху царя небесного, как и он сам.

И в каждом прозвище Паши была своя симптоматика. Внешне он, быть может, и не напоминал Шулера, но в душе всегда был мелким махинатором, этаким духовным Остапом Бендером, его любимым литературным героем.

Прозвище, уверен я, — это устный паспорт человека. Не зря же в нашей слободе так всегда было принято: к фамилии и имени отчеству обязательно добавлять прозвище. Будто народ не доверял государственным метрикам, выданным ЗАГСом. Паспорт можно потерять, поменять в новом паспорте фамилию, имя, паспорт и свидетельство о рождении сегодня можно купить, подделать на компьютере... Прозвище выше электроники. Оно, как имя из «народных святцев», раз и навсегда. Оно, если прилипло, и в химчистку не ходи. Пятно вечное. Сопровождающего того, кого наградили, не только до могилы, но и самостоятельно живущее дальше — пока хоть одна живая душа, пусть нечаянно, мимолетно, но помянула в разговоре прозвище давно ушедшего от слободчан человека...

Этот феномен, как известно, с удивлением и восхищением отмечал Гоголь. Возможно, это он к нам случайно заехал на своем стареньком экипаже с «проблемным» колесом, которое не то что до Петербурга, дважды до российского капитализма доезжало!.. И все кандыбает и кандыбает дальше... Колесо это, наверное, починил кузнец Никита Сыдорук (раньше, уверен, эта фамилия писалась через две буквы «с»), наш слободской Левша: что лошадь подковать, что колесо или печной колосник починить, что морду заказчику набить за веселую дармовую работу мастера... Когда не было заказов, Ссыдорук подряжался конокрадом. И слыл лучшим знатоком лошадей в округе. Был он настоящим профессионалом своего дела. И очень веселым, общительным человеком. С таким прозвищем он и не мог быть никем другим.

Павел ангелом не был: сам приклеивал слободчанам такие кликухи, что «нареченные» им люди обижались на автора до гробовой доски. Меня Пашкин язык-бритва пощадил. Он называл меня, как и все слободские пацаны, — Захаром. А по метрике, я был Иосиф. Так назвал меня отец, вернувшийся в первую же послевоенную амнистию из сталинских лагерей. В честь «отца всех народов». Иосиф Климович Захаров.

Лично мне имя Иосиф не очень нравилось.

Когда умер Сталин, мне было пять лет. Но я помнил, как плакала мама, дочь «врага народа», расстрелянного в тридцать седьмом. Смахивал слезу и однорукий отец, слушая по черной тарелке репродуктора сообщение правительственной комиссии о смерти Иосифа Виссарионовича... Вот такой «синдром пса».

Когда Пашка на меня злился, то называл «товарищ Иосиф». Но такие прозрачные намеки в нашей бдительной слободе были опасны — запросто могли «стукануть в органы». За долгие годы власть привила населению повальную политическую бдительность, характерную только для двух великих народов мира — немцев и русских. (Спасибо бате, назвавшего меня Иосифом после нескольких лет сталинских лагерей в честь «отца всех народов»).

Если Павел был в благодушном настроении и куда-то, к созвездиям псов, отлетала на время его желчная ирония, он называл меня «Ёськой». Или Ёжиком. Даже мою маму приучил называть меня Ёсей, что всегда раздражало меня, а добрая простодушная мама не понимала моей обиды.

— Адольф Гитлер не станет лучше, если его называть Адиком, — огрызнулся я.

— Любое сравнение хромает, — отвечал Пашка. — А твое с «Адиком» — сразу на две ноги. Не обижайся, Захар. Ты же зовешь меня Немцем,

хотя казак от рождения. Я ведь не обижаюсь за Немца. А Ёся — это уменьшительно-ласкательное от Иосифа. Я же тебя не Иудушкой назвал. И даже не Иосифом Виссарионовичем...

Я отнекивался, но за прозвище все-таки обижался на друга. Хотя вначале я даже не догадывался, что в «Ёське» есть что-то иудейское.

Это мне директор школы глаза открыл.

Как-то, услышав от Альтшуллера обращенное ко мне «Ёська!», Тарас Ефремович Шумилов сказал:

— Немцы есть. Татары есть. Хохлов — уйма. Евреев нашей школе только не хватало! Всяких там Ёсиков или Абрамов...

Я принял оскорбление в свой адрес и обиделся. И тогда, сделав глупое лицо, которое всегда меня самым чудесным образом спасало от возмездия идеологических врагов, я сказал:

— Тарас Ефремович, а ведь вы нас не перестанете и «Ёсика» учить принципам советского интернационализма?

— В каком смысле? — спросил Бульба, явно опасаясь заложенной мины с часовым механизмом в моем вопросе.

— Вы нам рассказывали, что где-то в Сибири есть целая автономная еврейская область, где все, начиная от областного начальства до последнего

скотника на ферме — сплошь евреи...

— Это я говорил? — искренне удивился Тарас Ефремович.

— Три дня назад...

— И сказки про евреев-скотников рассказывал?

— Рассказывали, Тарас Ефремович... — вздохнул я.

Он почесал плешину и, уже смягчая тон, сказал миролюбиво:

— Ну, в сказках и не такое бывает...

## **Глава 3**

# **УРОК ИСТОРИИ ДЛЯ УЧЕНИКА ИОСИФА**

— Я, Захаров, вам историю преподаю, а не математику. А история — это песня, из которой слова не выбросишь, — как-то на своем уроке сказал Тарас Ефремович Шумилов. — Песня для народа важнее всякой формулы.

В моей кумирне<sup>4</sup> фигура Шумилова занимала видное место. Он и сам был, как говорила моя мама, «видным мужчиной»: косая сажень в плечах,

---

<sup>4</sup> Кумирня — языческая молельня.

всегда в хоть и не новом, но отутюженном бостоновом костюме, при галстукe в горошек («под Ленина») на свежей сорочке. Он был секретарем школьной партийной организации, и мы частенько слышали в день полочки, как Тарас Ефремович своим зычным командирским голосом шумел в учительской: «Товарищи педагоги! Взносы! Взносы! Не забывайте про партийный долг — главный долг вашей жизни!».

Удивительно, что мой отец и безногий инвалид дядя Федя, папин брат, всегда говорили о директоре, как о покойнике: только хорошее. Это меня уже тогда настораживало.

— Бать! — как-то сказал я. — А Тарас Ефремович рассказывал нам о партизанском отряде, о его взводе разведки... А про тебя сказал, что ты в отряде только на ливинке<sup>5</sup> играл и раз из берданки по намцам-почтарям пальнул...

— Это когда две руки было... Хорошо играл, — ответил отец.

— Ну, все там героически с немцами сражались, а ты на ливенке... Обидно.

— Дурак ты, Иосиф, — не злясь, ответил батя. — Дурак и не лечишься... Я бы и сейчас с радостью растянул меха, да не могу, прости...

---

<sup>5</sup> Ливенка — разновидность русской гармошки.

Однорукие на гармонии только в своих снах играют... А сказкам Тараса Ефремовича не шибко-то верь... Вона он в газетке как расписал, сколько он со своими разведчиками машин в Хлынино пожег, да поездов под откос пустил... А до ближайшей железки от нас десять вёрст с гаком. Где это он вражеские эшелоны под откос пускал, а?

— В Дрюгино ездил, — парировал я.

— С печки на лавку он ездил, твой герой.

— Это ты от зависти, от злости на свою несправедливую судьбу...

— Судьба, она всегда справедлива к правому... Человек бывает несправедлив. А судьбу чё корить?

Он оборвал завязавшийся было разговор:

— Ну, потрандели и буде... Мне пора в артель. Сегодня приду поздно. Будем углы в крепи заводить...

Вернувшись на свободу, отец начал с дядей Федей строить дом. На месте сожженного карателями в войну. После освобождения района семья моя жила в землянке. Точнее — в погребе, переделанном в землянку. В этой землянке весной сорок восьмого родился я. Не помню, конечно, свое «родовое место». По веской причине младенческого беспамятства. Но когда мой однорукий батя с обезноженным войной братом отстроили новый дом Захаровых, мне показалось, что я уже его



где-то видел. И запах смолистой сосны уже когда-то вдыхал полной грудью. И даже коник под крышей мне был до изумления знаком... Всё уже было, было... Только когда — не припомню.

Новый дом отец с дядькой ставили долго. Очень долго. Перво-наперво плотницкая инвалидская артель «Победители», куда вошли все, кто потерял на войне разные части своего тела, срубила огромную крепь герою-партизану, сыну героически погибшего командира «Мстителя» Григорию Петровичу Карагодину.

Тогда останки Петра Ефимовича выкопали с нашего огорода и торжественно перезахоронили на площади, у райкома. А нашу в посаде назвали улицей Петра Карагодина. Сын его, Григорий, стал секретарем райкома партии, женившись на Ольге Богданович, дочери Якова Сергеевича Богдановича, послевоенного первого секретаря Краснотырского обкома партии.

Когда батя затеял организацию плотницкой артели, чтобы дать возможность инвалидам хоть как-то прокормиться, не побираясь у пивных, то ходил за разрешением к Григорию Петровичу. И Карагодин-сын, начинавший собственное грандиозное, по тем меркам, строительство своего дома, придумал имя артели «пяти с половиною калек», как говорил отец, — «Победители».

Народно-партизанская власть смиростивилась над калеками. И узаконила плотницкую инвалидскую артель, так сказать, официально. А отца, которого после 53-го полностью реабилитировали, поставили даже бригадиром «Победителей».

Свою молодую жену, мою будущую мать, он привез из Сибири в сорок седьмом. Мама, не совладав от какой-то болезнью, полученной ею еще за «колючкой», так и не оправилась в слободской жизни. В землянке было сыро, холодно... Помню только её постоянный кашель. По новому дому она неслышно ходила уже, как тень. Кашляла так тихо, и я слышал, как с каждым приступом кашля ее покидали жизненные силы. Хорошо помню её тихие похороны, плач бабушки Дарьи, беспрестанно курившего отца и безногого дяди Федора. Дед Иван к тому времени уже «прибрался» сам — угорел «при исполнении», в правлении колхоза, которое он сторожил по ночам.

Всю жизнь мой отец вкалывал за двоих, получая сущие копейки за свой «трудо­вой энтузиазм», а часто, не получая и их. Верил Сталину, потом Хрущеву... Так и умер с верой на потрескавшихся губах. Без стонов, жалоб, без упреков. И всегда напоминал мне: «Бог, Сынок, дал человеку две руки, чтобы одной брать, а другой отдавать». Ту, которой подразумевалось брать, ему

еще в отряде отпилил партизанский доктор Фока Лукич. А ту, которой отдавать, оставил... Потому, наверное, и считал он себя в вечном долгу перед людьми и небесами.

Я прозревал медленно. Как слепой кутенок. Тарас Ефремович еще не раз попытался подчеркнуть память о моем отце... Да так, что я подолгу плакал, забившись в темный угол амбара.

Как-то, посылая старшеклассников на «субботник» на новостройку секретаря райкома, директор школы сказал:

— Григорий Петрович своей кровью получил право на новый дом. Всем миром ему его и поставим. А некоторые воруют с этой ударной районной стройки дефицитные лесоматериалы...

— Это кто такие «некоторые»? — спросил я Шумилова, зная, что Тарас Ефремович намекает на моего отца, который с разрешения прораба брал обрезки доски и прочий хлам на нашу новостройку..

— Есть и среди «Победителей» лагерники с воровскими замашками.

Я втянул запыхавшую от стыда и гнева голову в плечи.

— Замолчите! — закричал Пашка на директора, заступаясь за меня. — Вы... вы... не имеете права, так говорить...

— Прав не имеет тот, кто советским судом

поражен в правах. А я это право имею!

Пашка уже взял себя в руки. И сказал иносказательно:

Ладно, с правами проехали... Чтобы не заржать, конь прикусил удило<sup>б</sup>.

— Чё-ё?

— А просто так, через плечо, товарищ директор!

Бульба проглотил его насмешку, потом схватил Пашку за ухо, крепко крутанул его, приговаривая над танцующим мальчишкой:

— Еще одна твоя выходка, сучонок, и вылетишь из моей школы пробкой... Понял? Нет, скажи, ты понял?

Пашка долго танцевал вокруг Бульбы, но наконец боль взяла своё.

— Я понятливый, Тарас Ефремович...

— То-то... Теперь слышу слова не мальчика, но мужа.

Дома я плакал в амбаре. Долго плакал. А когда слезы высохли, стал придумывать страшную месть любимому директору. Я стал вслух, торжественно награждать его позорными кличками

---

<sup>б</sup> Удило — железные два звена, вкладываемые в рот лошади при взнуздании.

и прозвищами. И мой бывший школьный кумир, купался в них, как воробей в грязной луже. И тогда я понял: словом можно убить. Хотя не для того, наверное, Бог дал его человеку. Я, сидя в темном амбаре, творил зло. Но то было необходимое зло.

Я вспоминал багровое лицо Тараса Ефремовича, его пакостные слова и грешил с даром Божьим, придумывая клички. Самая безобидная из них была «Тарас-пидирас».

Уже сильно хворавшая мать нашла меня в «углу плача». Вывела на свет, прижала к себе и сказала:

— Война всем нам принесла очень много горя, сынок... Немцы заживо сожгли твоего прадеда Пармена и прабабушку Парашу. Война отняла у отца правую руку, у Федора Ивановича — ступни ног. И в том, что зло до сих пор в душах людей, тоже виновата война. Нужно не гневить Бога своим словоблудием, а найти силы и простить своих обидчиков и гонителей. Простить и молиться за них...

— Да ты что, мам? — поднял я на нее заплаканные глаза. — За них и молиться? Да лучше я сдохну в этом амбаре...

Тогда я уже знал, что в девичестве фамилия моей мамы была Землякова. И до войны она жила в Москве, в семье своего отца — генерала бронетанковых войск Павла Сергеевича Землякова.

В тридцать седьмом генерала осудили. И расстреляли как врага народа.

Моя мама с юности ковала свое счастье, выходя на вечернюю поверку не с человеческим именем, а с номером на фуфайке — набором чисел Зверя, заменившим ей имя от Бога. Я хорошо помню мою милую, тихую маму. Она много читала. Много плакала. И всё время молилась, стоя у иконы в красном углу нашего нового дома.

Папа познакомился с ней в ссылке. В сорок третьем его, уже потерявшего в борьбе с гитлеровцами правую руку, несправедливо, как я считал, отдали под суд. Но в первую же послевоенную амнистию он вернулся в родную Слободу. И не один. А с молодой женой, которая вскоре и стала моей матерью. И с дядей Федором. Калека побирался на железнодорожной станции Дрюгино и, если бы не отец, пропал бы, как тогда пропадали тысячи людей, искалеченных войной.

На улице Петра Карагодина, знаменитого партизанского командира, погибшего от рук карателей, посадские мальчишки как-то обозвали меня «тюремщиком», намекая на прошлое моего бати. Тогда я дрался сразу с тремя обидчиками. Я, не думая о боли, мстил своими маленькими, но твердыми кулаками, скорее не за себя — за отца. За его исковерканную судьбу, которая аукалась мне всю мою жизнь...

Придя домой с расквашенным носом и подбитым глазом, я упал на деревянный диванчик и горько заплакал. Отец выстругивал слободскому шорнику очередную «халтурку» — пяло<sup>7</sup>. Жили мы бедно, трудно, и батя не чурался никакой работы — лишь бы кусок хлеба или чугунок картошек заработать...

— Ну почему ты у меня не герой!.. — безутешно рыдал я. — В партизанах был, а медальки, как у отца Сашки Разуваева, нету... Под трибунал попал, как нам директор школы рассказывал, вместе с ворами в тюрьме сидел... Почему так? Почему?..

Отец отложил оструганную доску в сторону, поправил выбившийся из-под ремня пустой правый рукав стиранной-перестиранной солдатской гимнастерки.

— Это кто тебе про трибунал сказывал?.. — подошел он к диванчику, но не присел рядом. Только чуть наклонился ко мне. — Кто тебе про родного отца хреновень всякую плетет, а ты, сопля медная, спешишь всякому трепу, всякой транде<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Пяло — доска для растяжки чего-либо.

<sup>8</sup> Транда — болтун, говорун.

посадской<sup>9</sup> поверить?!

Я проглотил слезы. Отец потряху шевелюрой, убирая прядь русых волос, мешавших ему смотреть на меня.

— Директор школы, говоришь, тебе душу мутит?..

— Да не, — испугался я за любимого Тараса Ефремовича. — Это пацаны дразнились... Тюремщиком меня обзывали! Я им дал! И они... вот... Рубаху кровью закапал... И воротник оторвали.

Я разревелся с новой силой.

— Не реви! — неожиданно смягчился отец, присаживаясь на краешек деревянного диванчика. — Я не тюремщик... А уж тем паче — ты. Придет время — всё узнаешь. И, может быть, даже всё поймешь...

Он погладил меня по непослушным вихрам, чего я никак от него не ожидал в ту минуту.

— А медаль, сынок, не дали.... Так разве в медали дело? Каждому медаль отлить — никакого металла не хватит. Ни стали, ни алюминия, ни тем более серебра... Кто-то же должен без медали после войны ходить, работать, крепи рубить, траву в огороде полоть, а не языком с

---

<sup>9</sup> Посад — поселок, предместье, окраина Слободы.



трибун молоть...

В этот день у меня в душе был траур — умер мой недавний кумир, наш учитель истории, он же директор школы, Тарас Ефремович Шумилов. Как я мог отомстить ему за поруганную честь отца? Да никак...

И тогда я стал придумывать ему убийственные клички, так мстя ему за фарисейство. О фарисеях мне еще в сырой землянке, в которой мы, Захаровы, жили долгие послевоенные годы, где в сорок восьмом году родился и я, мне рассказывала бабушка Дарья. Малограмотная старушка книжек, как моя мама, не читала. Но рассказчицей была удивительной. Природной народной сказительницей, как я сейчас понимаю, была бабушка Дарья... Когда в сорок третьем, закрыв клуб, открыли нашу церковь, где настоятелем стал приемник убиенного на Соловках слободского батюшки доживавший свой долгий век отец Димитрий, бабушка пошла в прислужницы храма Божьего. По хозяйству дома управится — и в церковь помогать старому священнику. Про Димитрия поговаривали, что «зашибает» он малость, водочку втихоря попивает... Как-то я спросил об этом бабушку. «И последний пьяница войдет в царство Божие раньше, чем фарисеи... — ответила Дарья Васильевна. — Так, Иосиф, в Священном писании сказано». Я подмигнул

старушке: «Конечно, ба! Ведь Водяра — не последний, а первый пьяница в слободе. Он и в шинок к вдове Васьки Разуваева за самогонкой первым по утру тащится, и за святой водицей — первым с баночкой стоит... Никого вперед не пропустит».

Тогда бабушка оттрепала мне уши за богохульное, по её разумению, сравнение. Теперь я, кажется, понимаю всю глубину этой Правды... Теперь, земную жизнь пройдя наполовину, и мне захотелось, чтобы фарисеи вообще никогда не вошли в царство Божие, куда не закрыта дорога даже Веньке Водяре, но будут заперты те ворота перед моим первым учителем истории — Тарасом Ефремовичем Шумиловым.

И на ромашковой поляне, у «нашего лукоморья», в яркий солнечный день я придумал самую черную кличку нашему директору: «Тарас-педераст». (Кличка прилипла к Шумилову быстро, только несколько трансформировалась для простоты звучания. Жестоко отомстил я директору, Аюсь... Потому буду называть его именем, давно придуманным слободским народом — Бульбой. Это не обидно, даже почетно и точнее: чем он нас порождал, тем и безжалостно убивал — исторической ложью, двойной моралью и лицемерием. Врал напропалую, во имя спасения... Вменяю сегодня ему и этот грех. И одновременно

прощаю его).

К отроческим годам во мне проснулись задремавшие было в детстве творческие силы. И уже в пятом классе получал за своё творчество «гонорары»: ремнем по тощей заднице от отца. Порол он меня, разумеется той рукой, которая ему заменила обе. Значит, с удвоенной силой. Оттого поэтический талант пропал у меня окончательно, только-только народившись на свет. Любовь к «изящной словесности», рифмам и поэтическим метафорам была отбита окончательно.

Придумывал я прозвища и своему лучшему другу Пашке. Тут моя фантазия давала какой-то сбой. Придумал их с дюжину. Но все они били мимо цели, подчеркивая лишь второстепенные черточки его, как сейчас понимаю, талантливой и многогранной натуры. Я придумывал клички, когда злился. Вот они и выходили сырыми от злости, не приклеивались... Наверное, тогда я и понял, что творчество и озлобленность — две вещи не совместные. Мечь терзает сердце и тупит ум. Отмщение — это не мечь. Это плата за грехи тяжкие. Расплата по прейскурранту жизни. Потому-то отмщение бывает даже святым... Или кровным, как у некоторых горячих народов. Меня же мама учила молиться за врагов и гонителей наших... Так и не научила — не успела: рано

умерла.

Фамилия у Паши вот уже пятьдесят восемь лет всё та же — Альтшуллер. Не поменял он её на Иванова или Сидорова, на худой конец Фокина (отчество у него такое ископаемое — Фокич), хотя мог запросто: знакомства в паспортном столе позволяли.

— Зачем мне убогая роскошь наряда? — как-то сказал Пашка по этому поводу. — Умри, Захар, но лучше и безопаснее фамилии не придумаешь.

— Безопаснее? Для тебя как раз очень опасная... — ответил я.

— Для людей не опасная. Вот Карагодин — фамилия для людей опасная. Потому что «кара» по-татарски — «черный» или «черт». Карагодин — черту угоден...

— А я, Захаров, кому угоден?

— Никому. В твоей фамилии сплошной примитив устного народного творчества: выйду на реченьку, погляжу на быстреньку... Кому-то явно не хватало фантазии. Вот великий Чехов придумал фамилию Пришибеев. Говорящая все околотку, значит опасная.

— А твоя, твоя фамилия, — начал заикаться я от обиды, — вообще не нашеньковского околотка. Дрянь несусветная, а не фамилия...

— Это с какого боку к ней подойти, — не

обиделся Альтшуллер. — Моя фамилия тоже говорящая. Но сказать что-то она сможет только просвещенному человеку. Философу. Хотя старообрядцы и философию называли служанкой богословия. Так что вряд ли мы вообще когда-нибудь поймем, крошка сын, что такой хорошо, а что такое плохо... Плохих фамилий не бывает. Бывают только плохие люди.

Альтшуллер Павел Фокич... Такая вот странное, на первый взгляд несочетаемое сочетание... Он утверждал, что его фамилия — немецкая. И досталось ему, как сказано в «бурдовой тетради» отца, по наследству от Карла Альтшуллера, немецкого аптекаря, поселившегося в Московии еще при Иоане — IV. В переводе с немецкого означает — «старый ученик», в вольном Пашкином переводе: «вечный ученик».

## **Глава 4**

### **ФОТОГРАФИИ НА СТАРОЙ СТЕНЕ**

Я страсть как не люблю цветную хронику жизни частного человека, снятую безупречной «цифрой». Сколько раз сам снимал семейные события на видео, но никогда эти пленки и диски потом не пересматривал — в цветном изображении, в сочной палитре подкрашенного электроникой даже самого сочного цвета — нет «запаха»

времени. Видеоманитофоны, планшеты, айфоны, ноутбуки и прочая бытовая техника несет на себе отпечаток назойливой телерекламы. А значит — яркого вранья.

Не люблю и парадные глянцевые портреты с искусственно натянутыми в улыбке губами... Люди разные, но все обязательно хотят выглядеть «одинаково — успешно», говоря фотографу непонятное никому чужое словцо: «чи-и-из». Потому и их нынешние улыбки чужие, фальшивые; глаза не верят фотографу и его «чизу».

Это не улыбка. Это «деланное лицо», западная личина. На старых фотографиях, сделанных в конце 19-го — начале 20-го века люди всегда серьёзны и сосредоточены. Им незачем притворяться счастливыми. Потому ни беду, ни настоящее человеческое счастье обмануть нельзя никакой «американизированной» белозубой улыбкой. Все карточные шулеры давным-давно в совершенстве овладели искусством «делать веселое лицо» именно при плохой игре.

Зато теперь, когда у меня, человека «свободной профессии», появилось нежданно свалившиеся на голову богатство — свободное время, — я могу часами рассматривать старые фотографии. Их, в рамках моего детства, выпиленных из фанеры лобзиком, в модных современных обрамлениях из пластмассы «под

дерево», много в моем рабочем кабинете с окном, выходящем на старый сад, посаженный моим отцом еще при жизни. Бесконечно дорогие для меня, Павла и Моргуши черно-белые кусочки почти уже позабытой, уже незнакомой моим детям «другой» жизни...

Наверное, человеческие воспоминания тоже куда-то уходят, накапливаются где-то, сортируются кем-то для «дальнейшего судопроизводства». Почему бы этим «местом» для таких «малых псов», как я, не может быть какое-нибудь созвездие Малого Пса? А для «псов больших» — созвездие Пса Большого?.. Есть же «накопитель памяти» в моем компьютере, подаренном мне Пашкой еще на моё бесславное 50-летие. Тогда он сказал: «Тебе, старичок, полтинник... А что сделано для вечности?». Ни-че-го. Придумал вот своё созвездие, назвав его «созвездием Чёрного Пса». Но ведь это виртуальное достижение. Никто, кроме Павла и Моргуши, об этом моём открытии ничегошеньки не знают. Пока, выходит, живу «в долг» у Вечности. А когда отдавать-то, если тебе уже за полтинник перевалило?.

С человеческой памятью, думаю, сложнее, чем с компьютерной. Вот смотрю, вспоминаю, а на ум лезут стихи Державина: «Я — царь — я раб, я червь — я Бог». Разве машина, пусть и самая интеллектуальная, смогла бы выдать такой

образчик «парадоксального мышления»? Да она бы просто загорелась от перегрева, если бы постаралась выполнить задачу программиста. Ибо машинная логика безупречнее, конечно, только с точки зрения машины. С точки зрения самого совершенного мозга, напичканного сумасшедшими парадоксальными идеями, логика компьютера всегда ограничена программой. Значит, человеческий мозг — самое совершенное создание Господа? Его сознание? Его душа? Он ведь посложнее любого компьютера, созданного человеческим мозгом. Есть ли предел у компьютерной памяти? Есть, конечно. А космос души, как и космос Вселенной, — без конца и начала. И моё созвездие Псов — это всего-навсего «отстойник» памяти, промежуточная сортировочная станция, где наши прошлые деяния, прежде чем получить оценку, небесным воинством сортируются по статьям нарушенных Заповедей и степени тяжести грехов наших.

Память машины определяется в каких-то электронных измерителях, кажется, в «гигобайтах» (или как их там?). Память человека — избирательна. Она щадит совесть, твой внутренний стыд, если те еще подают признаки жизни. Она может притвориться забывчивой, даже вовсе беспамятной. Но «накопитель-то» не обманешь... Там, там, в черной космической бездне, где



прячутся звезды Псов, хранится самое сокровенное, самое святой и постыдное, самое счастливое, легкое и самое невыносимое, тяжкое... И ничего нам с этим не поделать — не притвориться беспмятными, счастливыми, успешными, любящими, любимыми... Как нельзя притвориться, что ты — живой. Ты либо живой, либо мертвый. Если душа опустела, то умереть можно, не утрачивая признаков внешне вполне благополучной, даже счастливой жизни. Таких «живых мертвецов» нынче тысячи. Их штампуют заведомо по «определенному евростандарту». Никаких отклонений от норм Евросоюза и прочих суперальянсов! Шаг влево, шаг вправо снова карается расстрелом, в лучшем случае — выпадом из обоймы. Государственной машине нужны только точно калиброванные детали. По суперевростандарту. О'кей! Для любой машины — в том числе и государственной — винтики, послушные отвертке главного механика, суперважный залог стабильной работы всего механизма.

Нет, прав, тысячу раз прав мой старый друг Пашка: «Слова даны человеку для того, чтобы скрывать свои мысли». Впрочем, Гейне приписывал эту фразу одному наполеоновскому министру. Я — Пашке. С министрами я не дружу.

...Я перебираю старые фотографии, выгребая их из черного конверта для фотобумаги, — и вспоминаю, вспоминаю... Я уйду из настоящего, осточертевшего своими вечными проблемами, хроническим безденежьем, борьбой за выживание в отчем доме, который мой однорукий батя и безногий дядька срубили и поставили еще в пятьдесят третьем. Без жалости покидаю это пространство и время, и плыву по волнам моей памяти в «светлое прошлое». ... Помните, была такая пластинка на 33 с половиной оборота — «По волнам моей памяти». Для меня самой большой загадкой всегда оставались эти «пол оборота». Ну, кто их выдумал? Почему нельзя было остановиться на 33-х? Нет, вот вам 33, а вот еще и пол оборота. И в этой-то половинке — вся непостижимая тайна, без которой ничего не крутится. Или крутится не так. Всю жизнь ищу и не могу найти оставшиеся пол оборота... Как мне их часто не хватает.

Мой старший сын Сашка, недавно окончивший дипломатическую академию в столице, знал еще несколько моих любимых песен. Мой младший сын Сенька, постигающий в той же столице непостижимую для меня профессию менеджера, уже не знает ни одной песни моего поколения. Ни единой. Даже Есенина не поет. Наверное, я виноват, что не обучил. Обучал. А он не пел с моего голоса. И, наверное, слава Богу.

Пусть поет свои. А они для меня — чужие.

Сашка же, став «значительным» лицом, то есть получив какую-то должностёнку в консульстве России в Антигуа и Барбуду, — есть, оказывается, такое государство, расположенное на островах какой-то Малой аномальной дуги, — стал забывать язык родных осин. И, что я заметил, совсем перестал петь. А какой был голос в детстве!.. Думали, второй Лемешев будет. Или Козловский. Или Магомаев. Или, на худой конец, Лещенко, песни которого он пел на своих школьных вечерах. Нет, уехал к пальмам, где тепло и обезьяны выпрашивают у туристов недопитое пиво. И стал безликой vip-персоной, в маске важного человека. Человека мира. Фигурой абсолютно космополитической, хотя, конечно, звучит красиво — «человек мира».

Сенька вообще, по его словам, будет «ярмарочным специалистом». Господи, о времена, о профессии... Как бы там ни было, студент Семен Захаров уже сегодня расталкивает крепкими локтями конкурентов и прочих лоточников на ярмарке тщеславия, которая в аномальных зонах и ярче, и балаганнее, что ли, и жестче в своей безжалостной конкуренции к друзьям и врагам своим. Потому что на открывшихся тут и сям ярмарках тщеславия друзей нет. Есть только конкуренты, которых нужно обойти, опередить,

прижать к ногтю.

Изредка сыновья приезжают в наш старенький дом. Сашка хотел было сломать русскую печку, чтобы соорудить модный камин. Но мать возразила, что «на твой камин отец дров не напасется!...». Слава Богу, отставил свою затею.

А Сенька утверждает, что только у нас, в районе лукоморья (так мы с Пашкой еще в детстве назвали на Свапе свое заветное местечко) в реку можно войти дважды. А то и трижды. И ничего не изменится в Краснослободске. Ничегошеньки...

Семён называет свою родину «Вороньей слободской». Именно в «Вороньей слободке» Ильф и Петров поселили Лоханкина и прочих обитателей коммунальной квартиры номер три. Вот ярмарочно-рекламные достойные плоды...

...Я смотрю на давно пожелтевшую фотографию нашего выпускного класса. Внизу чем-то острым просто и без затей нацарапано: «Краснослободская ср. школа, 11 класс, 18 июня 1966 г.».

На первом плане, сидит на стуле надутый своей внутренней значимостью человек со сдвинутыми к переносице мохнатыми бровями, обвислыми по складкам щек угрюмыми сидящими усами. Это наш директор и учитель истории Тарас

Ефремович Шумилов.

Рядом с ним верная Анка-пулеметчица, наша «классная дама», учитель русского и литературы. Как же ее фамилия? Память моя стерла её. За ненадобностью. А ведь и она учила нас понемногу. Чему-нибудь, и как-нибудь... Многое помню, очень многое в мельчайших подробностях, а фамилию Анны Ивановны забыл. Будто и не знал никогда. Всё Анка-пулеметчица. Правда, без Петьки и Василия Ивановича.

А кто этот худой стриженный голубок с глазами, в которых застыла вся вселенская грусть? Да это же — я, Господи!.. Какой же я здесь страшенький и жалкий. Как бездомный щенок. Но — глаза!.. С такими глазами рождаются поэты и самоубийцы. Я тогда еще был во власти иллюзий и не бросил писать детские банальные стихи. Все свои произведения я посвящал Маруси Водянкиной, с которой три года просидел за одной партой. В неё тайно и явно были влюблены все мальчики нашего класса.

А это — он, Пашка Альтшуллер, «вечный» (или все-таки «старый»?) ученик» с лукавыми глазами. На любой фотографии он всегда серьезен. Одни глаза смеются, будто всё о всех знают наперед. Не по годам и житейскому опыту. Лицо юного, ироничного до вредности старикашки. Слободского, доморощенного мыслителя. Именно

тогда я сочинил про него: «Отличен Паша от глупца тем, что он мыслит без конца». А плутовские глаза говорят: нет, не зря ты меня иногда называл Шулером... Ну, прямо лучатся иронией, за которую ему так часто приходилось платить в прошлом, но еще больше — в настоящем.

Сегодня я понимаю: так Пашка защищался от ударов судьбы и земляков. Три года он прожил в нашей семье. Даже если вместе с ним не съели пуда соли, то, как мне казалось, я достаточно хорошо знал своего закадычного друга.

А кто это вот тут, прямо за нашим несравненным Тарасом? Кто это в белом школьном фартуке выглядывает из «коммунистического далеко»?.. Кому и в Слободе, и в Краснослободске жить хорошо? Кто это и жить торопится и чувствовать спешит?

Кто ж из наших не узнает бывшую первую красавицу Краснослободской школы нашу Марусю Водянкину!.. Хотя почему это бывшую? И сегодня моя милая (натуральная!) Моргуша даст сто очков вперед всем «умерщвительницам» плоти, «поглотительницам» тайских таблеток и миллионершам, натягивающим в зарубежных клиниках кожу с подбородка на желтый костяной лоб. Разве не ей я посвящал свои лучшие стихи, которые она записывала в свой самодельный песенник под претензионным названием «Виновата

ли я?...».

«И выстраданный стих,  
пронзительно-унылый, ударит по сердцам с  
неведомою силой».

Пашка тоже неровно дышал к Марусеньке. Даже придумал ей изящное прозвище — Королева Марго. А я переделал его в Моргушу. Не от Марго, а от слова «моргать». Моё прозвище ей подошло лучше. Хотя, как она признавалась, Пашкино было все-таки изящнее и поэтичнее.

Эх, Моргуша, Моргуша... Где твои семнадцать лет?... Да там же, где и наши. Я подношу старую фотографию к лицу и даже нюхаю картонку. вспоминаю запах ее густых русых волос. Запах этот так кружил головы...

Бог не обделил Моргушу талантами. Она была певунье, первой танцовщицей школы. Только рисовала посредственно.

Я не стал любимым Моргушиным поэтом. Она любила Пастернака, хотя Анка-пулеметчица прививала ей «программную» любовь к Маяковскому. Шулер быстро это просек и как-то, когда после уроков мы выпускали очередного школьного «Крокодила», задумчиво глядя в окно на поленицу березовых дров, помойку с кошкой Дусей на крышке, наглых сорок, прыгающих вокруг помойки с кошкой на её вершине, — прочел:

*В кашне, ладонью заслоняясь,  
Сквозь форточку крикну детворе:  
Какое, милые, у нас  
Тысячелетье на дворе?*

И тут же получил в награду улыбку Маруси Водянкиной.

Я не знал, что эти строки написал Пастернак. И опростоволосился перед Моргушей, сказав, что у Вознесенского заслуживают внимания только «Антимиры».

— Ничего, ничего, — снисходительно улыбнулся Пашка. — Мерцающее сознание поэта. У филистеров это бывает...

— У кого? — сжал я кулаки.

— У филистеров, — повторил Павел, отступая от меня к двери. — А не у тех, которые глисты, как ты подумал...

— У каких таких филистеров? — повторил я, спуская с цепи своего пса.

— Филистер — это человек с узким обывательским кругозором и ханжеским поведением. Вот у Гете, в цикле «Кроткие Ксении», есть такие строчки...

И он продекламировал по-немецки. Это язык Пашка знал лучше всех в классе.

— Was ist der Philister? — взял я Пашку за грудки, припечатывая его к стенке. — А ну, Немец,



переведи!

Пашка освободился от меня, сказал с обидой в голосе:

— Классиков нужно читать только в оригинале... Не доверяйте, сэр, нашим переводчикам... Они переводят так, как им приказано издателями и книготорговцами, а не написано автором. Знаешь, как хохлы перевели фразу «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»?.. «Голодранцы всего свиту, гоп до нашей кучи!...». Есть разница, старичок? Голодранцы и объединились. Нищета духа стала пропуском в их «светлое будущее».

— Ты мне мозги хохлами не пудри! Переведи, Немец! — не отставал я от друга.

— Ну, пожалуйста, пожалуйста... Что такое филистер, задается Гёте риторическим вопросом. Это пустая кишка, полная страха и надежды. Такая пустая, что, в конце концов, даже Бог над ней сжалится. Так что пустота и Высокому Миру безразлична.

— Глубокомысленно, — протянул я. — Ладно, сегодня это сошло тебе с рук. Но больше не говори на том языке, который не знают окружающие тебя люди. За такое шифрование морду бить надо.

Пашка обиделся. Но через час мы уже помирились. Запихивать камни за пазуху было не в

наших правилах. Копить мелкие обиды, чтобы они со временем выросли в крупные неприятности, считали мы моветоном, дурным тоном, если по-русски.

## Глава 5 ВОСПОМИНАНИЕ В «ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТЕ»<sup>10</sup>

Думаю, что насмешливость — господствующая черта характера не только тиранов, но и рабов. Всякая угнетенная нация имеет ум, склонный к осмеянию, к сатире, к карикатуре.

Так и мои земляки всегда мстили за свои бедствия. За унижения.

К чертовой матери все нынешние презентации — торжественные и глупые, аскетические и с пышными фуршетами, одинаково претенциозные, с раздачей слонов довольной публике, с демонстрацией в младших классах «просвещённого Запада» правильных действий по надеванию презерватива на голый мужской манекен. Слава Богу, что наша аномальная зона оказалась на

---

<sup>10</sup> Плюсquamперфект — в немецком языке выражает предпрошедшее время.

обочине столь продвинутой культуры Запада, которую отечественные столичные либералы выбрали в качестве обожания, подражания и угоднического любования.

Где кончается анекдот и начинается жизнь? В театре абсурда во Всемирной Аномалии эта черта давным-давно уже стёрта. В здоровом теле, которое ухожено и накачено в дорогих элитных фитнес-клубах, не всегда присутствует здоровый дух.

В детстве я был поэтом. Пока души не загажены, пока дух ребёнка ничем не заражён и здоров, в эти благословенные времена многие дети — гениальные поэты, видящие мир чистыми простодушными глазами. Но не провинциальное филистерство, как утверждал Альтшуллер, сгубило нераспустившиеся, хотя и уже набухшие, почки. Тут была другая причина...

Поэт должен видеть глаза Бога. А нам это было запрещено. В лучшем случае, мы смотрели ЕМУ в спину, по кирпичам собирая то, что было уничтожено в «окаянные дни», как определил то время дальнзоркий Иван Бунин. «Узреши задняя моя»... Какой из тебя поэт, если не видишь истинной сути Что великого можно создать, не видя лика Господня? Вопрос, как любит говорить Пашка, риторический.

И все же я счастлив, что не стал поэтом!.. Мой Бог милосердный помиловал. Пашка еще тогда с ехидной ухмылкой говорил, что это случилось по одной причине: у меня лицо «не подходящее для поэта», недостаточно поэтическое и умное, что ли. Вспомните, лицо Льва Толстого на портрете, который висел в кабинете литературы вашей школы. «Какая глыба, какой матёрый человечище!..» — это ведь всё от лукавого. Таких стариков с окладистой бородой и колючем взглядом было пруд пруди в толстовском имении Ясная Поляна. Прелюбодей был ещё тот, граф Лев Николаевич... Но мыслил широко, а главное, как казалось ортодоксам парадоксально: мол, не противься злу насилием. Хотя что тут парадоксального с точки зрения Вечности? Непреложный закон Ноосферы: не умножай вселенской скорби! Ещё в Библии сказано, что если тебя ударят по правой щеке, подставь левую.

Я всегда ценил Толстого-художника. И не любил Толстого-мыслителя. Зачем, простите, художнику изворотливый ум лисицы? Ему талант требуется. А это нечто другое, чем интеллект. Это дар Божий. Особый дар для тех, кто соперничает с самим Творцом. Отсюда и судьбы у настоящих писателей всегда трагические. Это ненастоящим писателям, для которых казаться важнее, чем быть,

живется весело, вольготно на Руси. При любых чёрных псах. Настоящие — всегда в конфликте с властью предрержащими. Потому что не родился еще на Аномалии тот, кто готов к Правде. Не готовы страдать ради своей, пусть малой, но — своей! правды и расчётливые конформисты. И я их по-человечески понимаю. Быть и казаться — не одно и то же. Художник Правды, какой бы она ни была — горькой, солёной, перчёной — должен всегда готов к лишениям, гонениям, забвению или даже к своей голгофе. Как там, у классика? «Лишь тот достоин чести и свободы, кто каждый день...» и так далее. Громко сказано. А начинать, думаю, нужно не с боя с ветряными мельницами, а со своего сердце. Нужно учиться видеть не только глазами, но и сердцем. Художник без зрячего сердца — слеп и жалок. Хотя на материальной стороне его бытия это отражается самым лучшим образом. Власть предрержащие, страдающие «синдромом чёрного пса», всегда своей верной собачке бросят под стол сахарную косточку.

Разве таланту нужен математический склад ума? Такой ум нужен математику, философу, экономисту, главному бухгалтеру, шулеру.

Когда во мне умер поэт? В семь лет? Нет, среди детей еще много поэтов. Очень много. Их поэтические души губят лицемерием и утонченным ханжеством позже. Как только душа человека

перестает смотреть на мир глазами удивляющегося всему сущему в этом Божественном мире ребенка, как только он воспринимает цветок не как удивительное творение небесного Творца и Отца, а как пестики и тычинки, а «Евгения Онегина», как серийный маньяк, расчленяет на образы «лишних и не лишних людей», — поэт в нашей душе умирает раньше, чем успеваешь родиться.

Рождается хомо-сапиенс, человек разумный. В XXI веке — человек прагматичный. Инженер. Учитель. Преферансист. Менеджер, дилер или киллер. Уважаемый (или не очень) обществом гражданин. Но обязательно, как сын или дочь своего времени, — «человек прагматичный», «прогматикус-вульгарис», я бы сказал. А «обыкновенный прагматист» быть поэтом, то есть «необыкновенным человеком» быть не может.

Потому-то у нас на Аномалии нынче так мало настоящих поэтов. Потому-то так ценят (и так издают!) в наших аномалиях Нарциссов Тупорыловых, призывающих: «Медленным шагом, робким зигзагом, не увлекаясь, приспособляясь, если возможно, так осторожно, тише вперёд, мой славный народ!»

... Факт моей поэтической смерти случился тогда, когда наш классный руководитель назначила меня редактором стенгазеты... Да-да, именно тогда

я впервые опубликовал свои стихи — напечатал их плакатным пером и тушью на листе ватмана. Лучше бы «нарисовал», но художественным редактором была назначена Маруся Водянкина. А она, как я уже отмечал, рисовала гораздо хуже, чем пела и плясала.

Сама героическая поэма о мальчишке-хулигане Пашке и героическом подвиге комсомолки Моргуши давно уже отлетела к созвездию Псов — стерлась из моей памяти. Но четверостишие каким-то чудом зацепилось за что-то:

*Если Свапка разольется,  
Трудно Свапку переплыть.  
Если Пашка разойдется,  
Трудно Пашу усмирить.*

Маруся Водянкина изобразила Пашку акварельными красками: большая башка с выпученными глазами и ртом до ушей торчит посреди бурного ледохода.

Моргуша рисовала на три с минусом. Она никого не хотела смешить, подчеркивая героический пафос своего же поступка, одобренного педагогическим коллективом нашей школы. А получилось наоборот — смешно...

С берега к тонущему Пашке тянется чья-то хищная, необычайно длинная рука, чтобы то ли его

утопить окончательно, то ли вытащить Немца за мокрые лохмы. Эта намалеванная клешня совсем не была похожа на изящную ручку первой красавицы школы.

## Глава 6

# ЛЁД ТРОНУЛСЯ, ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ!

В каждый ледоход мы, слободские мальчишки, прыгали по плывущим вниз по реке льдинам. Ледяные островки за лукоморьем вдруг резко набирали скорость. Они неслись к повороту, сталкивались и волчком крутились на Черном омуте...

Это считалось высшим пилотажем, оседлав самую быструю льдину, первым выйти к тому месту, где река разделялась на два рукава — старицу и новое русло, пробитое половодьем.

Картина была достойна кисти великого художника. Весеннее солнышко, осевший апрельский снег, живые черные прогалины дышащей первым теплом земли, треск крошащегося льда, визг девчонок на берегу, захватывающие дух прыжки по несущимся льдинам, сжимающий сердце долгожданный холодок в животе от безумного полета... Я бы



испытал это еще раз. А потом еще и еще... Только нельзя на одной льдине прокатиться дважды.

Наверное, рассудительному, предусмотрительному человеку было жутко смотреть на наш ледоход. А мы, играя с норовистой рекой, а может, и самой смертью, устраивали ледяные гонки. И не пугали нас угрозы участкового, вызов родителей в школу и быстрые на расправу отцовские ремни.

Мы не могли не геройствовать на опасной реке — весенним солнечным днем берег был усеян первыми красавицами. Девчонки вдохновляли слободских героев.

А в тот день, раскрашенный весенней акварелью, Моргуша вышла на берег в синем платье, накинув на плечи новенькую душегрейку, отороченную мехом куницы. Её дед, Вениамин Павлович по кличке Водяра, ловко проткнул охотившегося за курами зверька вилами в сарае. Пустили выделанный мех на Маруськину обновку. И она, понимая свою неотразимость, стояла под еще голой ивушкой, луская семечки. Ну, слободская купчиха (а может, и княжна) Мария Водянкина, Королева Марго — да и только!..

Мы все оглядывались на статную её фигуру. Ветер развеивал ее шелковые кудри, а мы теряли головы и равновесие, и при лобовом столкновении

оседланной льдины чуть ли не зубами вгрызались в свой самоходный островок. Но, засмотревшись на ослепительную Слободскую красоту, зевали момент поворота — самый важный этап гоночной трассы ледохода. Не успеешь глазом моргнуть, а льдина уже зловеще кружится в шальном танце водоворота, крошится... Ледяное крошево, переливалась всеми цветами радуги на апрельском солнышке, сыпется колючим стеклом на мокрое лицо.

Запросто можно было искупаться в ледяной апрельской водице. Но чаще всего «торпеда» теряла скорость и застревала в бесформенном синем торосе на мелководье косы.

...В тот памятный мне день я выбыл из ледяных гонок первым. Оступился при первом же прыжке и подвернул ногу. Боль была не сильной. Наверное, я мог бы участвовать в этой безумной гонке на выживание. Наверное, мог бы, как теперь понимаю... Но то ли, и правда, было больно, то ли поддался дурному предчувствию... А может, подал свой беззвучный голос мой сторожевой пес — страх. И я выбыл из гонки, маскируясь травмой, и прихрамывая на больную ногу глубже, чем было можно прихрамывать.

Лед 65-го тронулся в апреле. И шел целых три дня. Другого такого ледохода я никогда в жизни не

видывал. Хромая, кое-как добрался до берега, сел на какой-то чурбачок, недалече от толпы опьяненных весной гуляк.

Этот был Пашкин день. Он, как никогда, был очень близок к победе, восхищая «безумством храбрых» всех девочек нашей школы. Но у Черного омута льдина, которую он выбрал для победы, неожиданно развернулась против течения и лоб в лоб сшиблась с большим ледовым островом.

На том ледяном «материке» плыл чернявый парень по прозвищу Чертенок — Степка Карагодин, сын и внук партизан-орденоносцев Карагодиных. Секретарь комитета комсомола школы не был трусом. Потомок Чингизхана, скуластый коренастый молодец, несмотря на кривые ноги потомственного кавалериста, нравился многим слободским девчонкам. С пацанами с Кухнаревского поселка, время от времени набегавшими на слободу с кольями и кастетами, дрался «выступками», ногами то есть. (Тогда ни о каком каратэ мы и слыхом не слыхивали, а Чертенок черным коршуном налетал на уже поверженного противника и пинал его ногами, издавая какие-то лающие звуки). Сильного и хитрого Степку Карагодина не любили. Но его боялись. В тот апрельский синий день до героизма моего друга ему было далеко...

Когда Паша оказался в воде, Степка подполз к

краю своего острова, но руки не подал: то ли испугался, то ли растерялся Чертенок... Только Степка что-то говорил Пашке, говорил... Никто не слышал, что именно. Скорее всего подбадривал тонущего «Вечного ученика»... Но Пашка на всю жизнь запомнил слова Чертенка.

— Знаешь, Захар, что Чертёнок мне сказал тогда?

— Ну, говори!

— Он спросил меня: «Как водичка?».

— А руку? — удивился я. — Руку помощи тебе наш комсомольский вожак не подал?

— А зачем? — серьезно посмотрел на меня друг. — Я бы её не принял. Иудина рука — коварная рука... Как и его поцелуй. Потом бы по всей Аномалии разнёс, что он меня от смерти спас. Для меня такое спасение было бы хуже смерти.

Дома мама и бабушка заставили меня выложить всю подноготную.

— Говори, как Пашка чуть не утоп? — в один голос требовали они.

А случилось вот что. Пока Пашку вешним бурным течением полной воды несло к Черному омуту, откуда выбраться было невозможно. Маруся Водянкина заламывала, заламывала в тоске руки да как бросится по неверным и скользким льдинам к Пашке. Девочки хором ахнули, готовясь к худшему. Но Моргоша, показывая скрытый талант циркачки,

в пять прыжков добралась до барахтавшегося в ледяном крошеве Павла. На стремнине даже ухватиться за крутящуюся мокрую голову было не так-то просто... Только за лукоморьем Водянкина поймала героя за хлястик пальто. (Как хорошо, что хлястики в то время на Краснослободском филиале фабрики «Большевичка» швей-мотористки присобачивали на совесть, это вам не китайские пуховики нынче шить по подвалам!).

Павел долго хворал, температурил, перхыкал, глотал микстуру и пилюли, пока окончательно выкарабкался на берег... Конечно, думали мы, батя — бывший партизанский врач. Он и не таких на ноги в Пустошь-Корени ставил... Лежи себе, пей чаёк с малиновым вареньем... Ни уроков тебе, ни Тарасов — лафа.

Но сильнее завидовали мы Пашке по другому поводу. В дом Альтшуллеров, находящимся по соседству с нашей хатой, зачастила Маруся Водянкина. Они, видите ли, вместе делали уроки. Чтобы этот Шулер не отстал от программы...

Про Марусиного деда, первого колхозника «Безбожника», мы, под руководством Анки-пулеметчицы, писали сочинение на «свободную тему»: «Первый колхозник Красной Слободы».

Учителя, держась политической линии, всячески поощряли пафос и разные умные цитаты о

«советском коллективизме».

В десятом классе Тарас Ефремович и Анка-пулеметчица пригласили на очередное внеклассное мероприятие с политуклоном Вениамина Павловича Водянкина. Был он уже очень стар. И, как всегда, «выпимши»...

— Вы, ребята, главное активно спрашивайте нашего уважаемого ветерана, — инструктировала нас Анна Ивановна. — Придет время — и партизана в Слободе днем с огнем не найдешь... Вымирают они со скоростью света.

Мы старались спрашивать. Но Вениамин Павлович ничего не помнил. Даже свой год рождения.

И тогда Маруся, часто-часто моргая глазами, готовая разреветься на важном мероприятии, подхватила деда и сказала:

— Грех так над живым человеком издеваться!..

И всем стало неловко от слов Моргуши. Всем, только не нашему директору.

Он перехватил Водяру (так прозвали Вениамина Павловича еще на заре советской власти) у внучки и повел его в свой кабинет. Там два славных «мстителя» вспоминали минувшие дни... И когда из директорского кабинета послышался хриловатый голос Бульбы: «Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной!..

Я был за Россию ответчик, а он спал с чужою женой...», Моргуша фурией налетела на гостеприимного Шумилова. Боевой дед был отбит молодыми, превосходящими врага силами. И уведен домой с тем самым почетом, который еще остался у Водяры после внеклассного мероприятия.

Чуть позже, когда я буду через лупу разбирать фотокопии подаренных мне Пашей страничек «Записок мёртвого пса», я наткнусь вот на эти строки Фоки Лукича Альтшуллера:

## **«УВИДЕЛ ЧЁРНОГО ПСА, ЗНАЙ — БЕДЫ НЕ МИНОВАТЬ**

*(Из «Записок мёртвого пса»)*

*Это большое заблуждение, что русские пьют, заливая водкой свою неизбывную тоску. Ложь, что наибольшее удовольствие для нашего народа — опьянение. Иначе — забытье. Мол, русским надо грезить, чтобы быть счастливыми...*

*Слободчане чаще пьют от страха. Перед жизнью. Перед смертью. Пьют, страшась прошлого. Боясь будущего. Страх этот сидит в подсознании, которую иностранцы называют «русской тоской».*

*Я неплохо знаю Вениамина Павловича Водянкина. Наблюдаю его как доктор и до сего дня. О чем может рассказать мне, лекарю, в свое время закончившего военно-медицинскую академию, его генная память? Да вот о чем. От страха перед кнутом барина пил его*

*отец, раб в седьмом колене. Порой он буянил, дрался, даже бунтовал и геройствовал. Но всё и это от страха. Жизни боятся все — и крестьяне, и мещане, и дворяне. От страха же перед Сибирью пьют все. Простой слободчанин, униженный рабством, хамством, глупостью, самодурством и беззаконием сегодня боится нового лиха — всеобщих доносов. Когда сосед иудствует против соседа.*

*Новая власть привила слободскому народу и эту заразу.*

*А «продразверстка», «коллективизация» и прочее «необходимое зло» проводятся только с одной целью: сломить, сломать хребет тем, кто еще не потерял чувства собственного достоинства. У кого в глазах еще теплится огонь свободного человека, а не покорного, смиренного раба. Потому как в Слободе, куда после революции меня закинула судьба, кулаков, то есть зажиточных крестьян, эксплуатировавших бы своего соседа, не было и нет. Ломают через колено тех, кто каким-то чудом, спасаясь от своего страха, сохранил хоть какую-то хозяйственную и человеческую самостоятельность и независимость.*

*Водяра, Вениамин Павлович Водянкин, намедни клался на мельнице, что видел за околицей, у убранного ржаного поля, чёрного пса, от которого на стерню сыпались красные искры. Был Водяра с ружьём — ходил куропаток пострелять, да ни одной не подстрелил. А когда этот пёс, по его словам, «с полугодовалого телёнка», сверкая глазами выбежал из яруги, то Венька не удержался, зарядил патрон с картечью и*



*выстрелил в это мерзкое существо. Видел, как весь заряд вошёл в собачину, но той хоть бы что. «Быть беде в нашем околотке! — заключил свой рассказ Водяра. — Чёрный пёс предупреждает. Дурной знак, братцы».*

*Вчера комбедовцы ходили на очередное раскулачивание. Горе, на кого положат свой взгляд, эти «опричники» из слободского комитета бедноты... Ходили к Соловьевым, Морозовым и Захаровым... Потом началась запись в колхоз».*

## **Глава 7**

### **ЛЕГЕНДА О ПЕРВОМ КОЛХОЗНИКЕ**

Жаль, что я не сохранил свое школьное сочинение «Первый колхозник Красной Слободы». О Вениамине Павловиче Водянкине писал и я, и его внучка Маруся, и мой друг Пашка — весь наш класс, словом. И только Моргуше Анка-пулеметчица поставила тройку — за не раскрытый образ своего деда.

Я и Паша получили отличные оценки. Да и другие ребята не подкачали. А как же! Старались на всю катушку. Ведь о «первых», как о покойниках: либо хорошо, либо ничего. Это аксиома. Иначе — не поймут. Такая вот «своя» правда. Одна — для Петра I и Екатерины I. А другая, истинно народная

— для «Собрания анекдотов царского шута Балакирева».

Мы уже тогда знали: настоящая правда та, что для «собрания анекдотов». Царева правда завсегда кнутом и эшафотом попахивает.

Мне эту «шутовскую», истинную правду, рассказал мой отец — Клим Иванович Захаров. У Моргуши до сих пор есть своя «версия» этому факту. В сочинениях ввали высокопарно и торжественно, что вообще является первым признаком любой печатной (или написанной) лжи.

Я расскажу, как слышал эту историю от моего отца. Конечно же, в своей, писательской, интерпретации. Ибо бывают странными мои писательские сны, но на Яву страннее.

\* \* \*

...День был осенний, промозглый. Ветер сек холодным дождем согнанных к сельсовету слободчан. Водяра был в одной калоше на босу ногу, другую потерял по пути к сельсовету. Из кармана его рваной фуфайки торчало горлышко синей бутылки, кое-как заткнутое скрученной из газетки пробкой. Венька, слывший в молодости первым конокрадом в округе, потом первым пьяницей, готовым последнюю рубаху снять, чтобы угостить близкого и дальнего своего. В Слободе это

почиталось в равной степени.

Посадские слободчане, самые бедные и отчаянные по своей малоимущности люди, знали: Председатель комбеда Петр Ефимович Карагодин загодя подготовил Водяру к этому торжественному шагу — первому вступить в колхоз. Так мало того, утром принес бутылку на опохмелку. Только строго-настрого наказал: больше стакана не пить! Вот пример остальным покажет, запишется в «Безбожник» первым, — тогда, мол, пей до у...у.

Название колхоза — «Безбожник» — придумал предкомбеда Петр Карагодин. Он же выдумал себе особую должность, которая, по его мнению, придавала «весу и значимости его фигуре в глазах слободчан». Должность эта называлась — Главантидер. Писалась с заглавной буквы. А расшифровывалась так: Главный антихрист деревни. Придумал он этого Главантидера не с большого бодуна. Вычитал в какой-то оборванной на самокрутки газетке отрывки заметок о каком-то «Антидюринге». Кто был этот самый «Антидюринг», Петр Ефимович, конечно, не знал. Да и знать не хотел. А вот само заковыристое словцо с приставкой «анти» ему очень приглянулось.

Но слободчане в силу своей вековой темноты и суеверий побаивались звать Черного Петруху (такую кличку ему дали еще до революции)

страшным словом «Главантидер». Ему, черту, что! А у нас начнет скотина подыхать, хлеб из колосьев на землю осыплется, в кузне горн погаснет... Антихриста только покликай!

— Ну, кто самый смелай? — вынося под дождь комбедовский неподъемный стол, давно изъеденный червем, с вызовом спросил народ Главантидер. — Записывайся першим!

— Иде тута крестик поставить? — икнув, спросил Водяра.

— Про крестики теперь забудь! — рыкнул на него Главантидер, отворачивая хищный нос от перегарного дыхания Водяры. — Палочку поставишь в первой графе, коль расписываться не умеешь.

Водянкин хитро улыбнулся:

— Палку я не графе, а жёнке поставлю... А тута — крестик.

Угрюмый народ молчал. Знал, что записывать будут под номерами. А потом, будто бы, имена слободчан упразднят вовсе, оставив для удобства коллективного руководства только данные при записи номерки.

— Чего молчите? — спросил Черный Петруха. — Вразумите сваго товарища. Он еще вчера жалал быть первым колхозником. А нынче безграмотным прикидывается. А в церковно-приходскую школу два года ходил. Я все

знаю про каждого!

— Палыч! — отозвался Васька Разуваев, бывший матрос с эсминца «Быстрый». — Жане и дурак поставить... — А ты графе поставь, как Черт приказывает...

— Не согласен я! — замотал мокрой головой Вениамин Павлович, тупо глядя на босые ногу. — Енто к чему честного человека принуждают? А?

От холода его губы посинели. Он достал из кармана бутылку, крепкими кукурузными зубами выдернул пробку и сделал три крупных глотка, запрокинув голову.

— Брр!.. — по-собачьи замотал он головой, отчего брызги полетели на первые ряды и самого председателя «Безбожника». — Во, пошло тепло по жилкам и кишочкам, теплее, теплее...

— Ставь, сучье племя, хоть палку, хоть какой! — сквозь зубы процедил Петр Ефимович. — Не то яйца оторву, собака! Ты речь пламенную, как я тебе наказывал, слободчанам приготовил?

Водяра почесал мокрый затылок, обвел мутным взглядом слободчан, согнанных к избе сельсовета для добровольной записи в колхоз, и лукаво подмигнул Главантидеру:

— А как же, товарищ председатель «Безбожника»!.. Речь, хучь головой в печь!

Народ засмеялся. Это не понравилось Петру Ефимовичу: известное дело — один слободской

дурак всё святое дело целой партии может опошлить.

— Ладно, давай без речи... Дома девкам своим с печки ее скажешь, — кивнул Карагодин.

Водянкин помолчал, собираясь с мыслями и предложил:

— А давайте наш уважаемый колхоз назовем как-нибудь по-другому... Как зоринские мужики, к примеру — «Новой зарей»!

— Ежели две «Зари», то одна из них явно не новая, — возразил Петр Ефимович.

— А «Безбожник», значит, новый? — покачиваясь с пятки на носок, спросил Водяра.

— «Безбожник» — новый, — хмуро ответил Карагодин, катая желваки на крутых скулах. — Будешь, гад, першим али как? Али гони взад самогонку, что Гандониha нагнала к банкету! Думаешь, мы тебя за твои зеленые глаза комбедовской самогонкой поили?

— Ничего я не думаю... — улыбнулся хитро Водяра. — Ты назначен волостью председателем «Безбожника» под фамилией ентого... антихриста, прости Господи! Ты и думай! Тебе за енто паёк полагается.

Слободчане хихикнули. У многих посадских даже бурчать в животах перестало. От голода. А Карагодин обещал каждому вступившему в колхоз по полмешка прошлогоднего овса. Да по доброй

чарке самогонки, который гнала для своего подпольного шинка жена слободского матроса Васьки Разуваева со странной для тех времен прозвищем — Гандониха. Да, может, от щедрот своих «продразверточных» и хлебом, огурцами солеными угостят честной слободской народец... Так что же Водяра ерепенится, время затягивает?

— Так ты, товарищ Водяра, записываешься в «Безбожника» али нет? — сводя густые брови к переносице, грозно спросил Главантидер.

Народ начал на Вениамина Павловича пошумливать — под дождем мокнуть не было никакой мочи.

Водяра неторопливо извлек из фуфайки почти допитуую бутылку самогона, сделал несколько крупных глотков, отчего острый кадык хищно заходил вверх-вниз по тонкой жилистой Венькиной шее, потом крякнул, занюхав вонючую бураковку рукавом фуфайки. Пустую бутылку, как ручную гранату, он бросил под комбедовский стол.

— А закусить дашь? — спросил Водяра. — Али опять красный кукиш сунешь под нос?

— И закусить дам! — ответил Петр Ефимович. — Гляди, не подавись токмо, когда дармовой хлеб жрать станешь.

Водяра зажмурился и отошел от стола.

— Хрен редьки не слаще...

Водянкин повернулся лицом к народу,

поклонился землякам в пояс:

— Народ честной! Так записываться в «Безбожника» али ишшо повременить?

— Пишись! Чё терять? Тузик в будке да голод с пробудки... Хуже, авось, не станет! — слышались голоса посадских соседей.

— А Тузик?.. Он «за» али «против»? Тузик! Тузик! К ноге!

Верный Тузик лохматым клубком кинулся под ноги хозяина.

— Тю-ю!.. — удивился Васька Разуваев. — Та пес не в тебя, Венька!.. Молчун у тебя пёс твой! Не брешеть, как ты!..

— У него силов брехать нетути, как и хозяин с прошлой Пасхи не жрамши!.. — отозвался кузнец Ванька Сыдорук, подтягивая на худом животе вечно сползавшие портки.

Никто из будущих «безбожников» не засмеялся: над «голодной» правдой в Слободе смеяться было не принято.

Петр Ефимович обмакнул перо в пузырек с чернилами, зажал в огромный кулачище школьную ручку, капнув кляксой на амбарную книгу, заматюкался:

— Ну, харя твоя невытая... Входи в историю! Потом внуки о тебе сказки будут слагать...

Водяра опешил от таких неожиданных слов, снова отступил от амбарной книги с уже



проставленными в ней номерами слободчан — будущих «безбожников».

— Я буду першим! — вдруг вывалился из толпы Васька Разуваев. — Мне и моей семье тоже терять нечего...

— У нас и Тузика нету!.. — поддержала мужа жена, скандальная баба, прозванная слободчанами Гандониха. (В те годы мало кто в Слободе толком знал, что это слово обозначает. Васька Разуваев, служивший в свое время матросом на эсминце «Быстрый», привез в родную Слободу несколько презервативов. Противозачаточные средства в быту слободчан так и не прижились. Но Васькины «гандоны» народ запомнил — Разуваев показывал «резиновую защиту» всем от мала до велика. И даже надул два больших белых шара, которые полдня летали над Слободой, потом зацепились за ветки деревьев и лопнули. В честь этих белых шаров и прозвали жену Разуваева Гандонихой. Помню, как опростоволосился их внук, учившийся со мной в одном классе, когда сказал Шумилону на уроке истории, что в Венеции «все плавают на гандонах». На что директор вполне серьезно ответил мальчику: «На гандонах не плавают, а летают»).

— Молчи, Гандониха! — испугался конкуренции Водяра. — В чужих руках хрен всегда толще кажется!.. Самозванцам встать в

строй!

Венька, опережая других любителей «халявы», поставил свою подпись в амбарной книге учета «безбожников».

— То палочку, то галочку, то крестик... — недовольно бурчал Водяра. — Потсавлю лучше-ка я подпись...

И поставил жирную кляксу от напряженности и ответственности исторического момента.

— Вот тебе, Черт, не галка, а цельная ворона! — закричал он, дую зачем-то на перо комбедовской ручки.

Петр Ефимович со злостью вырвал у него ручку, макнул перо в чернильницу и, тяжело вздохнув, вывел каллиграфическим почерком: «Нумер 1 — В.П. Водянкин». И сам расписался за Водяру — какую-то закорючку поставил.

Потом почесал за ухом. Написал: «Нумер 2».

Зычно крикнул:

— Нумер два! Разуваев с Гандонихой!  
Подходи к столу!

Это уже много позже он будет кричать на наряде: «Нумер шастнадцатый! В коровник! Нумер двадцать осмой — на гумно! Нумер перший — запрягай соловую кобылу!». Коротко и ясно. Водянкину же его номер, что елей по сердцу: первый! А первому человеку, как и первому гостю, в Слободе завсегда кусок послаще и пожирнее...

Вениамин Павлович Водянкин, первый колхозник «Безбожника», прославился не нашими сочинениями. Про Водяру в Краснослободске и по сей день ходят легенды, очень похожие на добрые анекдоты про Чапаева. Раньше про любимых героев народ слагал песни, но когда слова из песен стали выкидывать, стал складывать анекдоты. Здесь необъятное поле для творчества — хочешь выкидывай материнное слово, а хочешь и добавляй. Дело вкуса каждого рассказчика. То есть творца. Про Водяру каждый рассказывает с доброй улыбкой. Значит, добрая о человеке память живет на созвездии Малого Пса. Добрая и долгая. Пусть те, кому ставили бюсты еще при жизни, позавидуют героям из народных былинных анекдотов...

И я очень горжусь, что моя жена Моргушка — его родная внучка. Восьмая или девятая по счету, сама порой сбивается со счета.

На днях сделал я одну очередную глупость. Когда написал «Легенду о первом колхознике», то дал почитать эту главу двум своим близким людям: Пашке и Марусе. Жена, являющаяся близким родственником покойного (лица исторического), вдрызг раскритиковала мой реалистический образ своего деда. И потребовала, чтобы я написал о Вениамине Павловиче, как о достойном гражданине, патриоте прекрасной Слободы. И, мол,

не обязательно кличку его вспоминать! И лучше описать не этот «факт» (она так и сказала — «факт», что не косвенно, а прямо подтверждает глубокий фактический историзм этой главы), а «случай», когда её деда, работавшего перед войной и после великой Победы председателем слободского сельпо, наградили медалью «Партизану Великой Отечественной войны».

— Ну, наградили и наградили... «Дорогого Леонида Ильича» вон сколько раз награждали. А чем, никто уже и не помнит, — сказал я.

— Мне интересно! — заплакала Моргуша. — Мне надо, чтобы о моем деде осталась только светлая героическая память! И ты не смей касаться его своей этой... правдой! Она его унижает.

Жена промокнула слезы платочком и добавила, цепляясь со мной уже не на шутку:

— Это ты про своего деда Ивана всякую грязь пиши! Как он по пьянке спалил правление колхоза и сам в нем сгорел!

— Как? Как ты сказала? Да, Господи... Это же всё вранье! Не так это было. Не так...

К какому-то празднику, кажется, на Октябрьскую, наградили моего деда, тоже такого же партизана, как и Водяра, комплектом грампластинок с записью частушек Мордасовой. За образцовое исполнение своих караульных обязанностей. А патефона у дедушки не было. Мы

жили не богато. Какой там патефон — не до жиру... Зато патефон был в правлении. И дед Иван во время своих дежурств любил послушать любимые народом частушки. Но кто же их слушает «на сухую»? Вот и выпил... Раз, другой... На третий перебрал и уснул у открытой дверцы печи. Сунул туда полено, чтобы согреться, когда к утру градус стал уходить. Да так и уснул на век, свернувшись калачиком, на загнетке...

— Бог ему судия, а не ты, Маруся! — сказал я распалившейся в споре жене своей.

— Да у вас вся семья такая была... — бросила Моргушка в меня комок грязи. — Все невезучие. Будто проклятые какие. И безногий дядька твой Федор, и отец твой леворукий...

— Не трогай моего отца! — замахал я руками, спуская своего пса с цепи. Он тоже герой-партизан!

— А в тюрьме с сорок третьего чего парился?.. У нас, сам знаешь, просто так не сажают...

— Замолчи! Судьба у него такая.

— Я и говорю — проклятые... Проклятие на вас висело. И сейчас висит. Ты-то в Захаровых пошел. То в школе преподавал историю, потом редактором «Слободских зорь» сделали... А за два года до пенсии «скрытым безработным» сделался...

— Не «сделался», а сделали...

— Какая разница? Ладно, Сашка —

отрезанный ломоть. Сам с усами. А Сенька? Кто мальчика кормить будет? На мою нищенскую зарплату мы и вдвоем с тобой не протянем. Ты об этом подумал, когда тебя Степан Григорьевич вызывал для серьезного разговора?

— Подумал...

— Плохо думает твоя седая башка! Стар стал, а спеси, как у молодого... С властью задумал тягаться. Так у сильного всегда бессильный виноват.

— В доме повешенного, Мария Алексеевна, не говорят о веревке...

— А я не о веревке! Я о помощи нашему студенту, которому в Москве еще два года учиться. Или что? Бросить ему все, потому что, видите ли, Иосиф Климович хочет во что бы то ни стало доказать свою правду Степану Григорьевичу... В жизни, конечно, всегда найдется и место подвигу. Но твой будущий подвиг — это не эта твоя писанина, по запискам сумасшедшего старика. Твой подвиг — это вернуться в редакцию. Или, на худой конец, в школу. Благо, место директора свободно.

Я, схватив рукопись, бросился к соседу справа — Павлу Фокичу Альтшуллеру. Мне повезло, он был не на дежурстве. С кислой миной смотрел матч нашей сборной по футболу с каким-то именитым европейским клубом.

— Всё, Паш, не могу больше... — признался

я. — Не могу, понимаешь?

— Понимаю, — взяв в руки рукопись, сказал он. — Знаешь, что Пушкин написал в поэтическом послании Батюшкову?

— Нет, — ответил я.

— «Бреду своим путем:

Будь всякий при своем».

Он поднялся, куда-то сходил. Доктора Шули не было где-то с полчаса.

— Ты никак позабыл обо мне?

— Да нет... Помню.

В руках он держал то, о чем чя так мечтал еще в школьные годы, — «бурдовую тетрадь» своего отца. «Записки мёртвого пса».

— У тебя же несколько листочков фотокопий... Теперь возьми вот это.

Он протянул мне амбарную тетрадь с грубо намалеванным на первой странице названием — «Записки мёртвого пса».

— Созрел, как ты говоришь?

— Бреди своим путем... Только треть «запретной книги Лукича» я все-таки оставляю у себя. До лучших, так сказать, времен.

— Так сейчас другие времена. Говори, пиши, что хочешь...

— Бывали времена трудней, но не было подлей...

— Лады. Хозяин — барин. Есть хочешь?